ГЛАГОЛ
3·1991

АЛЕКСАНДР

ГАЛИЧ

Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ

Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ
ГЛАГОЛ 3·1991
ГАЛИЧ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В третий номер журнала «Глагол» вошли публицистические выступления известного советского поэта, прозаика и драматурга Александра Галича. Основу составили его выступления по радиостанции «Свобода» в 1974—1977-х годах. В издание включены также интервью с писателем, подписанные им открытые письма, стихи, написанные автором в разные годы.

- Я выбираю свободу
- ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
- I
- II
- III
- IV
- V
  - ПЕСНЯ, ЖИЗНЬ, БОРЬБА
  - КУЛЬТУРА И БОРЬБА ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
  - В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ»
  - КРАЙНЯЯ ОПАСНОСТЬ
  - МЫ СЧИТАЕМ ЕГО СВОИМ
  - ЕЩЕ ОДНА ПИСАТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА
  - ПАМЯТИ ДРУГА
  - НЕМНОГО О ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОЯЖЕРСТВЕ
  - ОТ «КОНТИНЕНТА»
  - СВОБОДУ АНТОНУ ПЕЙПЕ!
- VI
  - МАРШ МАРОДЕРОВ
  - Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ
  - О ПОЛЬЗЕ УДАРЕНИЙ
  - ЛЕВЫЙ МАРШ
  - КУМАЧОВЫЙ ВАЛЬС
  - КАНАРЕЙКА
  - ВСЕ НЕ ВОВРЕМЯ
  - ГОРЕСТНАЯ ОДА СЧАСТЛИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ
  - СТАРАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬСОК
  - РАССКАЗ, КОТОРЫЙ Я УСЛЫШАЛ В ПРИВОКЗАЛЬНОМ ШАЛМАНЕ
  - БАЛЛАДА О ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ
  - ОТРЫВОК ИЗ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕПОРТАЖА О ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ
  - КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
  - ГОРОДСКОЙ РОМАНС (Тонечка)

- БАЛЛАДА О СОЗНАТЕЛЬНОСТИ (Подражание Д. Хармсу)
- БЕССМЕРТНЫЙ КУЗЬМИН
- БАЛЛАДА
- НОЧНОЙ ДОЗОР
- ПЛЯСОВАЯ
- НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ
- ЗА СЕМЬЮ ЗАБОРАМИ
- ПЕЙЗАЖ
- РЕКВИЕМ ПО НЕУБИТЫМ
- О ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
- ПРОЩАНИЕ
- Опять меня тревожат страхи…
- В этом мире Великого Множества…
- ВЕЧНЫЙ ТРАНЗИТ
- ЧИТАЯ «ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»

- VII
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Я выбираю свободу
Галич Александр

ГЛАГОЛ

Литературно-
художественный
журнал

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ
Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ

3·1991

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В 40-х — 60-х годах имя Александра Галича было связано прежде всего с пьесами «Вас вызывает Таймыр» (1948), «Походный марш» (1957), «Пароход зовут «Орленок» (1958), автором которых он был (первая из этих пьес побила в свое время все рекорды популярности). Не меньшей известностью пользовались и созданные по его сценариям кинофильмы «На семи ветрах», «Верные друзья» и др. Его работа была отмечена многими премиями, в том числе зарубежными. А в среде театралов Сашу Галича помнили еще и как актера, учившегося у К. Станиславского, с успехом дебютировавшего в театральной студии В. Плучека и А. Арбузова (об этом писатель напишет позднее в автобиографической повести «Генеральная репетиция»).

Тем, видимо, неожиданнее стало его обращение к песням сатирическим, добродушная ирония которых со временем стала носить резко обличительный, нонконформистский характер. Хотя Галич писал песни и раньше (так, незатейливая песенка «До свиданья, мама, не горюй…» стала любимой песней А. Сахарова), но нынешнее его творчество шло как бы вразрез с написанным ранее. Стало существовать как бы два Галича — с одной стороны «благополучный сценарист, благополучный драматург, благополучный советский холуй», как с горечью определяет сам писатель, с другой — автор «мгновенно и опасно прославившихся песен» (Ст. Рассадин). Конечно, при более внимательном анализе его творчества можно легко отметить бескомпромиссность и в его ранних произведениях (были уже написаны и запрещены пьесы «Матросская тишина» и «Август»), но для массовой аудитории восприятие Галича прежнего и нынешнего было не вполне адекватным.

Ярким примером тому может служить позиция А. Арбузова. Сначала он не мог примириться с успехами Галича в драматургии, позже его неприятие вызывали песни Галича, его известность как барда (новое слово, еще входившее тогда в разговорную речь). Кстати, незадолго до смерти Арбузов раскаивался в том, что принимал участие в изгнании Галича из страны и даже хотел просить о реабилитации опального писателя. Как вспоминает О. Кучкина, известный драматург был уже очень болен и не помнил, что Галича к тому времени не было в живых.

Неожиданна и нелепа была смерть Галича 15 декабря 1977 года в Париже от удара электрическим током при подключении только что купленной аппаратуры. До сих пор существуют предположения, что к этой трагедии были причастны советские и

американские спецслужбы. Этому способствует и то, что начатое было французскими властями расследование спустя пару дней было прекращено по просьбе второй жены писателя Ангелины Галич, спустя несколько лет погибшей столь же нелепым образом. Так что до конца недоведенное расследование привело к тому, что смерть писателя еще долго будет оставаться для нас загадочной.

Версия, что Галич был в свое время «устранен» с помощью советских спецслужб по обоюдной «согласованности» противостоящих сторон (а подобная практика еще достаточно распространена), все еще бытует в кругах русской эмиграции. Слишком уж неординарной была эта фигура, слишком самостоятельной. Кстати, до сих пор отношение к Галичу на «Свободе» настороженное — как к чужаку. Мертвый писатель устраивал всех в большей степени.

В годы реакции редко кому были доступны книги Солженицына. Правду о сталинщине люди узнавали, слушая и переписывая песни Галича. Во-многом именно они формировали нашу нынешнюю позицию, раскрывали глаза на преступления советского режима.

Переход Галича в «разряд» диссидентов был неизбежен. Исключенный из Союза писателей и Союза кинематографистов писатель все время искал пути к своему читателю и слушателю. Возможно, многие впервые услышали его голос и его песни благодаря радиостанции «Свобода», с которой он сотрудничал с 1974-го по 1977-й годы.

Выступления Галича по радио и вошли в настоящую книгу. Более 150 раз звучал его голос в эфире и сквозь помехи, припадая к радиоприемникам, слушала его страна…

Записи Галича на радиостанции «Свобода» были сохранены ее сотрудником Юлианом Паничем и впервые изданы в США.

В книгу включены также статьи русских писателей, ныне живущих во Франции — Марии Розановой и Андрея Синявского, а также интервью и открытые письма Галича. Дополняет книгу публикация стихотворений, носящих наиболее ярко выраженный антикоммунистический характер.

Александр Шаталов

… Немножко пройдет, немножко,
Каких-нибудь тридцать лет,
И вот она, эта книжка,
Не в будущем — в этом веке!
Снимает ее мальчишка

С полки в библиотеке!
А вы говорили — бредни!
А вот через тридцать лет…

I
МАРИЯ РОЗАНОВА
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Памяти Галича

В Париже 15 декабря 1977 года умер Александр Галич.

…Мы прощаемся с ним для того, чтобы с ним встретиться еще и еще раз, к нему вернуться, как он сам возвращается к нам своими песнями. В поэтической и человеческой судьбе Галича явно или тайно присутствует эта тема: «Когда я вернусь…». Вынужденный уехать, эмигрировать из России, он покидал ее с чувством нового и нового к ней возвращения, не буквального, а в более широком смысле; и в охватывающем его песни мотиве возвращения — к эпохе, в которую мы жили и живем, к людям, знакомым и незнакомым, к стране, как к исходной точке и к месту рождения его песен. Это так глубоко и серьезно заложено в его творчестве, что, слушая Галича, начинаешь подозревать: а не в природе ли это песни вообще, песни как таковой, которая, улетая в пространство, к нам возвращается и как бы относит назад, к нашему прошлому опыту и к нам самим, какими мы заново себя постигаем, задумываясь уже не над словами песни, которая поется, а над своей судьбой…

И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака…

Трудно даже сказать, где у Галича нет этой темы возвращения и где он не поет о себе, рассказывая о других людях, совсем на него не похожих. Возвращение — к Освенциму, к солдатам, павшим под Нарвой, к советским лагерям, составляющим всю сердцевину нашей современной истории. Возвращение кассирши к себе самой, меняющей возраст, но так и продолжающей щелкать за старой кассой. Возвращение из Караганды к Медному Всаднику… В мыслях, конечно. Лишь в мыслях… Словом, «возвращение на родину», как писал когда-то Есенин, близкий этой песенной стихии…

Возвращение — это общее, это в традиции песни, и самого песенного жанра, который, вероятно, потому и более или менее традиционен всегда, что соотнесен с прошлым, к которому песня возвращается в силу заложенной в ней личной или всенародной

памяти. Возможно, в этом и состоит отличие песни от прочей, в том числе самой высокой, лирики, которая стремится и улетучивается в будущее, тогда как песня, как ветер, возвращается на свои круги и поэтому находит себе пристанище в народе, в фольклоре. Песня помнит, всегда помнит…

Но помни — уходит поезд,
Ты слышишь, отходит поезд
Сегодня и ежедневно…

Как-то незадолго до смерти, может быть, даже не ведая до конца, о чем он собственно рассказывает, Галич, сидя у микрофона, записал на пленку, что снится ему последнее время и что его мучает во сне. Воспроизводим дословно его рассказ:

«А началось это с того, что года два тому назад, когда я улетал из Нью-Йорка в Европу, меня посадили в самолет ужасно усталого и очень сонного. Дело в том, что накануне я был на дне рождения у Ростроповича, причем, приехал я на этот день рождения после своего собственного концерта, приехал поздно. Мы гуляли почти до самого утра, днем я так и не успел отдохнуть, и когда меня посадили в самолет, я уже просто засыпал на ходу. И я даже не помню, как мы взлетели, потому что я спал…

Когда я проснулся, я увидел, что около меня стоит стюард, там были не стюардессы, а стюарды, и предлагает мне что-то выпить, и я спросил его, как мы летим. Он спросил: в каком смысле «как»? Я говорю: ну какой маршрут у нас? Он сказал, ну как же — у нас маршрут Нью-Йорк — Москва… Я спросил: что-что-что??? Он сказал: у нас маршрут Нью-Йорк — Москва, — сказал он мне. Я настолько обалдел, что у меня просто отвисла челюсть, и я долго так сидел в этом состоянии, пока он снова не прошел мимо, и я спросил его: а скажите, — спросил я дрожащим голосом, — а где-нибудь у нас будет посадка, или прямой рейс? Он сказал: рейс прямой, — сказал он, после чего у меня уже совершенно упало сердце, — но посадка у нас будет в Амстердаме.

Тут я вздохнул с облегчением, а потом, вот с той поры, начался этот сон. Как говорится в «Борисе Годунове» у Пушкина — «Все тот же сон…»

И очень часто мне снится, что, я прилетаю в Москву. Прилетаю в Москву, сажусь в такси, и уже в такси я понимаю, что, собственно говоря, ехать-то мне некуда. Я не знаю, к кому я могу зайти? Кого я могу не подвести? И как мне быть дальше? Где я буду ночевать? Где я буду есть? Кому я рискну позвонить?..

И потом обычно этот сон где-то перебивается ощущением, что я стою в будке телефона-автомата и держу в руках не двух-

копеечную монету, а почему-то у меня в памяти остались пятнадцати-копеечные монеты, те, которые мы бросали еще в пятидесятые годы в копилку телефона-автомата… И вот я держу эту пятнадцати-копеечную монету, и я не знаю, кому позвонить… Родным? Я боюсь. Друзьям? Я не знаю, как я им позвоню и что я им скажу… И это ужасное ощущение того, что я, наконец-то, дома, я, наконец-то, у себя, на родине, я, наконец-то, том, где мне всё мило и всё — тяжко, всё — необыкновенно дорого и всё — необыкновенно раздражает меня, и вместе с тем, я понимаю, что я уже чужой в этом мире: этот мир — мой мир! — он не может меня принять, я не могу в него войти…

Я, как правило, иду потом от площади Маяковского до площади Пушкина; я до сих пор помню все дома по правой стороне, помню, что там находится, и последовательность этих, домов…

И я захожу в магазин, где когда-то были меха, а теперь продают всякие фото-принадлежности, и иногда там можно было достать батарейки для транзистора, поэтому я туда заходил очень часто; и я стою и меня спрашивают: что вы хотите? и я начинаю покупать батарейки для транзистора. Меня спрашивают: какого размера? И я говорю — все равно какого, потому что мне действительно все равно, какого размера будут эти батарейки… И обычно где-то вот на этих самых батарейках и кончается этот очень горестный и очень странный сон, который, как я уже сказал, уже из месяца в месяц повторяется и снится мне очень часто…

Смерть Галича — в результате, как принято говорить, «несчастного случая» — подавляет своей ненужностью и нелепостью. Боже ты мой, погибнуть — Галичу — по ошибке — в собственной квартире, оттого что по рассеянности включил антенну в электросеть, где, к тому же, не такое уж высокое и страшное напряжение!.. Галич всю жизнь увлекался музыкой, радио, возился с радиоприемниками, транзисторами, радио, проигрывателями. Недаром даже во сне он бредит батарейками для транзистора. Всем известно, что попав за границу, Галич начал работать на радио, на радиостанции «Свобода». Это была лишь одна из сторон его жизни и деятельности здесь. Так сказать, биографическая деталь. Одно из возможных и полезных применений его опыта, таланта и голоса. Тем не менее, радио, именно радио, возвращающее в Россию ее собственные дар и память, — это было органично для Галича с его песнями, с его творческой природой, требующей не читателя, а слушателя. Это слышалось даже в тембре его голоса. Галич был создан для того, чтобы жить в звуке, в музыке и в эфире, и чтобы его песни, перелетая расстояния, возвращались к исходной точке, к месту

рождения. И вот вся эта материя — батарейки, радио, электросеть, антенна, проигрыватель — невольно послужила причиной его гибели. Рассказывают, что он ставил антенну, ошибся розеткой, поставил не туда, куда следует, и его ударило током, и, кажется, уже падая, он ухватился нечаянно, свободной рукой, за второй ее прут, да так и остался лежать с зажатой в руках антенной. Ток прошел через него. И нет Галича…

Ты слышишь — уходит поезд,
Сегодня и ежедневно…

Осмелюсь возразить на молву о нелепости его смерти. Конечно, это бездоказательно и наивно, быть может. Я не настаиваю. Это не научная экспертиза, а субъективное чувство и смутная догадка, что Галич умер, как полагается, в согласии со своим характером и судьбой. Да, случайно, но совсем не глупо и не плохо.

Человек себе смерти не выбирает. Смерть выбирает человека. Кому долго жить, кому коротко. Даже кончая самоубийством, мы не выбираем. Смерть выклевывает нас, по одиночке, руководствуясь собственным опытом и глазом. Кричи не кричи о нелепости положения, она свое дело сделает.

Но бывает, случается: соответствие или несоответствие смерти — человеку. Тому, чем и как он жил. Анакреонт, согласно преданию, подавился виноградной косточкой, и это на него похоже. Верхарн попал под поезд. Мы дивимся, как правильно, то есть похоже на себя, умерли Пушкин и Лермонтов, Лев Толстой и Маяковский… Не всем надо умереть в соответствии с самим собой. Но некоторым — дано.

Мы оплакиваем Галича. И не зная, куда деться от его смерти, говорим: до чего же нелепо! Если бы он умер хотя бы от инфаркта, который уже несколько раз угрожал его жизни. Не от случайного же, такого невинного, домашнего электричества! Нам просто хотелось бы придать какую-то законность или объяснимость его гибели. Все мы умираем от инфаркта, от рака, от гипертонии. В крайнем случае — от гриппа. И мы — привыкли. А тут — током ударило из какой-то розетки, ни с того, ни с сего. И нам страшно и неловко… А смерть необъяснима и действует по-своему, и бьет током — выборочно. Совсем это не чепуха и не нелепость! И совсем не от антенны, включенной в электросеть, умер Галич. Ему повезло: он умер от музыки, которую захотел послушать еще раз перед смертью. Он любил музыку и жил в ней, и работал… И умер на рабочем" месте, как и подобает поэту. Его убило музыкой.

А песни все возвращаются и возвращаются к нам. Сделали круг и вернулись. И голос его слышен. Как звон в ушах. Как близкие позывные…

1978

И немея от вздорного бешенства,
Я гляжу на чужое житье,
И полосками паспорта беженца
Перекрещено сердце мое!

II
У МИКРОФОНА ГАЛИЧ
Радиодневник 1974—1977

6 июля 744

Мне кажется так: если мы не примем формулу, что мир принял… трещину, которая прошла через сердце поэта… знаменитую формулу Гейне… то вообще поэзии не существует.

Беседа за круглым столом

10 июля 74

Из опыта первой эмиграции мы знаем, что одной из самых распространенных болезней эмиграции… является болезнь — ностальгия. Вот я и решил, чтобы не болеть этой болезнью потом, — как делали с нами с детства — когда заболевал корью какой-нибудь сосед, то нас туда водили, чтобы мы тоже заболели корью… Я решил «отностальгироваться» в Москве. Еще сидя у себя дома, в своей квартире, *я* написал целый ряд песен, посвященных этой теме, чтобы… вот здесь уже… этой темой не заниматься… С песни, давшей название моему новому сборнику стихов и песен, с песни «Когда я вернусь», я и начну…

(В передаче Галич поет песню «Когда я вернусь»)

Обзор культурной жизни

Первое выступление Галича на Западе

26 июля 74

Я желаю самого большого успеха и счастья этой стране… Я говорил себе: «Можешь ли ты быть полезен Израилю?». И мне кажется, что я был бы не только не полезен, а вреден… потому что смысл существования этих приезжих… этой «алии» в том, чтобы раствориться в среде Израиля… воспринять язык, культурную традицию… привычки… Я уже не молодой человек… Я — русский поэт… и я оказался в какой-то мере… я не преувеличиваю своего значения, естественно… но просто неизбежно я бы оказался каким-то центром* объединяющим именно советско-русское землячество… и объективно мог бы принести этим какой-то вред…

Еврейская культура и общественная жизнь

24 августа 74

Сейчас август месяц, тот самый август, который, по словам

людей, ее (Ахматову) близко знавших, так не любила Анна Андреевна… В августе был расстрелян Николай Гумилев, в августе был арестован сын Ахматовой и Гумилева — Лев, в августе вышли известные постановления ЦК КПСС «О журналах „Звезда” и „Ленинград”», в которых были ошельмованы, вываляны в грязи великие русские писатели Анна Ахматова и Михаил Зощенко… Судьба подсказала мне решение финальных строк (песни «Снова август»)… это было в августе 1968 года… когда советские танки прокатились по улицам Праги.

У микрофона Галич…[1]

Памяти А. А. Ахматовой

31 августа 74

Мы наконец летим в Норвегию… Если разглядывать наше путешествие в перевернутый бинокль, то… позади Франкфурт, Вена, Москва… Разрешение на выезд мы получили двадцатого июня, а билеты на самолет власти любезно забронировали для нас уже на двадцать пятое… Кстати, в самолете нас было всего четыре человека, и незачем было бронировать места… За четыре дня нам предстояло покончить со всей нашей прошлой жизнью… продать квартиру и вещи, получить визы в голландском и австрийском посольствах, упаковать и отправить багаж… проститься с родными и близкими…

У микрофона Галич…

Первые дни в Норвегии

14 сентября 74

Осло… я сижу в… уютном ресторане «Блом»… разглядываю торжественные и серьезные портреты его основателей… внезапно… без всяких на то оснований, давние, еще московские, усталость и тревога накатывают на меня, как озноб. Это тревога и усталость разоренного дома, опустевшие за три года вынужденного молчания книжные полки. Это тревога и усталость от вечного ожидания стука или звонка в дверь… Вечером мы смотрим телевизор — последние новости, — и вдруг на экране появляется измученное, с заострившимися чертами лицо академика Сахарова… по настоянию врачей академик Андрей Сахаров вынужден прекратить голодовку… И снова — в который раз, здесь, в полумраке моей первой норвежской комнаты, я обращаюсь мысленно ко всем знакомым и незнакомым людям на Востоке и на Западе… Не молчите!

У микрофона Галич…

Первые дни в Норвегии (продолжение)

21 сентября 74

… Мы поехали посмотреть витражи, сделанные Виктором Спарра… огромный распятый Христос, слегка подсвеченный неярким солнцем, с сожалением и состраданием смотрел на нас, грешных людей… Лицо Христа осунулось в смертной муке, запекшиеся губы словно силились сказать: «Я пришел в этот мир, чтобы научить вас милосердию и любви… а что вы сделали?»

(В передаче Галич поет песню «Аве Мария»)

У микрофона Галич…

Первые дни в Норвегии (продолжение)

2 октября 74

…Многие документы самиздата, которые раньше циркулировали безымянными или подписанными вымышленными именами, теперь появляются подписанные людьми, открыто бросающими вызов, открыто декларирующими свое право на информацию… на то, чтобы их позиция была недвусмысленно заявлена перед всем обществом…

Обзор самиздата № 172

Еще раз о возрождении

«Хроники текущих событий»

2 октября 74

Он (Шукшин) понимал, что чьи-то руки вычеркивают из его произведений самые важные слова, калечат его картины… они не выходят в том виде, в котором он их задумал… Как же может выдержать человеческое сердце?.. Теперь-то мы знаем — не смогло это сердце выдержать…

События и люди

К кончине Василия Шукшина

3 октября 74

Мы все, представители художественной интеллигенции, мы — не политики, но… приходит пора — и об этом сказал Ростропович — пришла пора, когда мы осознали, что не можем больше работать, как бы мы хотели работать, приходит пора определить свою позицию в этом мире.

События и люди

К интервью Ростроповича

5 октября 74

…Это были женщины… которые сидели в лагере, причем не в обыкновенном лагере, а в лагере для «детей врагов народа»… Они попали туда совсем детьми, подростками и провели там большую

часть жизни… все они были из Ленинграда, но когда мы познакомились, они говорили: «А вы откуда, из России?»

У *микрофона Галич…*

Песня «Караганда или про генеральскую дочь»

8 октября 74

Мы снова стоим перед загадкой, снова перед мифом, мифом о великом русском писателе Михаиле Александровиче Шолохове… Очень трудно понять, как двадцатидвухлетний писатель, имеющий за плечами четырехклассное образование, сумел сочинить роман… воссоздающий эпическую картину войны 14-го года, казачьих восстаний на Дону, всей обстановки этого удивительного периода жизни русского общества…

События и люди

Еще раз об авторстве «Тихого Дона»

12 октября 74

…Хочу рассказать вам историю создания песни, которая фигурировала в качестве одного из самых жестоких, самых тяжких преступлений на моей совести… когда меня исключили из Союза писателей.

У микрофона Галич…

Песня «Ошибка»

13 октября 74

…Для России 60-х годов это (поэзия под гитару) было открытием, потому что… оказалось, что песня может вместить в себя огромное количество человеческой информации, а не только «расцветали яблони и груши».

Культура, события, люди

Беседа о магнитиздате

15 октября 74

…Хочется надеяться, что пожелание, высказанное Александром Исаевичем Солженицыным, сбудется… что люди докопаются до истины… что удастся восстановить и очистить роман («Тихий Дон») от приписок, всех грубых наслоений… продиктованных цензорской, редакторской или недобросовестной рукой соавтора… восстановить незаслуженно забытое — как сказал сам господин Моложавенко — имя донского писателя Федора Крюкова…

События и люди

О статье В. Моложавенко

«Несколько вопросов г-ну Солженицыну»

19 октября 74

…Первая пластинка — первый блин комом, — но во всяком случае она выходит в свет… это первая моя пластинка в моей жизни… Я впервые слышу свой голос, записанный на профессиональной аппаратуре…

У микрофона Галич…

Песни «Марш» и «Поезд»

26 октября 74

…В Осло строят метро… весь город перекопан… и стоят заборы, отгораживающие строительство… Первое наше впечатление в Вене, там, где строят метро — стоят заборы. И это были единственные заборы… других заборов я здесь в Европе не видел…

У микрофона Галич… «

Жуткое столетие»

28 октября 74

Это книга о себе… до какой-то степени это исповедь…..В стране по-прежнему убивают за стихи. Мы знаем, например, судьбу поэта Юрия Галанскова… мы знаем трагическую гибель человека, доведенного до такой степени отчаяния, что он не мог выбрать иного как самоубийство — Ильи Габая, мы знаем отправленных в изгнание Бродского, Коржавина, Галича…

Обзор культурной жизни

Беседа с Галичем о его новой книге

«Генеральная репетиция» 2 ноября 74

… После тяжелой болезни я попал в маленький санаторий… поскольку я был тогда еще членом Союза писателей и членом Союза кинематографистов, мне, как говорится, «пошли навстречу» и дали малюсенькую комнату… это насторожило моих соседей…

(Из песни «Баллада о стариках и старухах»)

Я неслышно проходил: «Англичанин!».
Я козла не забивал: «Академик».
И звонки мои в Москву обличали:
«Эко денег у него, эко денег!»

У микрофона Галич…

«Баллада о стариках и старухах»

9 ноября 74

… Я услышал о начале войны между Израилем и Египтом… у моего транзисторного приемника батарейки вышли из строя… в течение первых пяти дней я слышал по радио (советскому) о разгроме израильских войск… И я написал тогда песню… а потом мне привезли батарейки, и оказалось совсем наоборот… Но из песни слова не выкинешь, да и не потеряла она совей актуальности, как выяснилось… я покажу ее в том виде, как она была написана в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом…

У *микрофона Галич…*

«Реквием по неубитым»

16 ноября 74

…Скоро я вернусь к себе в Норвегию (правда, странно звучат эти слова — «к себе в Норвегию»?) и хочу написать давно задуманный мной мюзикл… комедийный… дворницкий мюзикл на тему вот этой самой песни, что я сейчас спою.

У микрофона Галич…

«Баллада о прибавочной стоимости»

17 ноября 74

…Когда на страницах газеты «Правда» красуется подобное письмо с подписью Шостаковича (письмо — грязная клеветническая заметка против Солженицына)… право же, ничего не остается сказать, как знаменитые слова Гамлета: «Не ладно что-то в датском королевстве»…

Культура, события, люди

Беседа о Шостаковиче

23 ноября 74

…21 августа ко мне вбежали мои друзья, лица были ужасные, трагические, несчастные… они сказали, что слышали по радио о том, что началось вторжение в Чехословакию… И на следующий день я написал эту песню… И в тот же вечер (кто-то) прочел эти стихи… и присутствующий при этом Павел Литвинов сказал: «Актуальные стихи». Это было за день до того, как он со своими друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения…

(А. Галич поет песню «Петербургский романс»)

У микрофона Галич… О 21-м августа 66-го

25 ноября 74

На меня даже больше впечатления произвели книги издания иностранных издательств… я увидел дорогие мне имена — и

Владимира Максимова, и Сахарова, и Солженицына… было чувство гордости…

Обзор культурной жизни
Беседа о Франкфуртской книжной ярмарке

30 ноября 74

В Освенциме на Аппельплац, когда проходил очередной отбор заключенных для отправки в газовые камеры, оркестр, состоявший тоже из заключенных, исполнял по приказанию лагерного начальника веселую песню «Тум-балалайка»…

(Из текста песни «Баллада о вечном огне»)

Где бродили по зоне КаЭры,
Где под снегом искали гнилые коренья…
Лишь как вечный огонь,
как нетленная слава —
Штабеля! Штабеля! Штабеля лесосплава…

У микрофона Галич…
«Баллада о вечном огне»

6 декабря 74

В этот день, много лет назад, сорок уже почти лет, была опубликована так называемая «сталинская конституция»… И вот под солнцем этой «сталинской конституции»… происходили все чудовищные беззакония, о которых теперь узнал мир… этот день (5 декабря) — как бы напоминание о том, что есть на самом деле так называемая советская власть.

События и люди
О демонстрации на Пушкинской площади 5 декабря 74 года

7 декабря 77

…Чтобы развлечь Юрия Павловича Германа, я… в купе скорого поезда «Красная стрела» начал сочинять песню… я писал ее всю ночь… Это была первая песня — «Леночка»… С этой песни, собственно, и начался мой жизненный путь…

У микрофона Галич…
Как создавалась песня про милиционершу Леночку

14 декабря 74

…Норвежские власти выдали нам «райзебилис» (заграничные паспорта), на которых написано, что мы… находимся под охраной норвежского государства и по этим паспортам мы можем… ездить в любую страну, просто… без всяких виз…

У микрофона Галич…
О поездке по Швейцарии

18 декабря 74

Правила поведения здоровых людей, посаженных в психбольницы… составлена инструкция Буковским и врачом-психиатром Глузманом… находящемся, как и Буковский, в заключении… Появление этой инструкции свидетельствует о продолжающемся неблагополучии в основах советской жизни…

События и люди
О книге, приписываемой Буковскому

20 декабря 74

… В 70-м году Наташа Горбаневская была заключена в психиатрическую больницу… она прошла здесь все круги этого ада… и только ее воля… ее мужество позволили ей вырваться из этого застенка… сохранив ясность ума, сохранив все ее необыкновенное дарование… Люди, услышав об этом новом факте издевательств (отказ Н. Горбаневской в разрешении на выезд во Францию в гости, предложение отказаться от советского гражданства в обмен на визу)… поднимут свой голос в защиту…

Корреспонденция из Осло
В защиту Натальи Горбаневской

21 декабря 74

…Я увидел, что в первых рядах сидят Синявские, сидят Максимовы, семейство Эткиндов… и впечатление было такое, что будто бы я пел действительно свои песни в московском доме, среди друзей…

У микрофона Галич…
Цикл о написанных песнях

22 декабря 74

Нужна была гласность… речь шла о нескольких, к сожалению, их можно посчитать по пальцам, людях, которые взяли себе это право, ежедневно рискуя своей головой… эту гласность осуществлять…

Интервью об интервью

23 декабря 74

… Я уже вам сказал о прежде всего припадочном характере власти и непредсказуемости ее поведения. Но я думаю… целому ряду лиц, которые вели открытые разговоры с иностранными корреспондентами и с другими странами, не отключался этот

телефон прежде всего потому, что мы в этих разговорах, как правило, ничего не требовали. Мы просто давали, высказывали свои мысли, мы даже не очень часто давали такую открытую информацию, она шла по другим каналам, которые я здесь упоминать не собираюсь…

Интервью об интервью

29 декабря 74

Я продолжаю верить, что… наша страна в итоге не погибнет, я не верю в добрые намерения властей, но я верю, что… пусть не на моем веку… страна рано или поздно должна найти в себе силы, чтобы пойти по человеческому пути…

Интервью об интервью

29 декабря 74

…Некоторое время тому назад… в шестьдесят восьмом-шестьдесят девятом… годы очень страшные, годы, прошедшие под знаком Чехословакии, мы все-таки еще пытались как бы затеять разговор, мы ждали ответов, мы ждали какой-то реакции. Уже года с семидесятого мы поняли, что реакции не будет, что мы говорим в пустоту… Мы на это шли открыто, мы понимали, с чем мы имеем дело, мы выбрали эту судьбу и мы вовсе не призывали к тому, чтобы это делали остальные. Это дело уже совести, какой-то уже позиции, занятой тобою, и мы абсолютно уважали тех, кто отказывался от подобных интервью, мы не считали их людьми, скажем, второго сорта…

Интервью об интервью

6 января 75

…Трудно не вспомнить письмо, написанное Александром Исаевичем Солженицыным в лондонскую газету «Таймс», и называлось это письмо «Достойное истолкование». И там было сказано следующее: «Удивительным образом Жорес Медведев всегда знает, что сейчас приятно советскому правительству, и именно то говорит, что уместно и умно, как не умеет говорить весь платный аппарат Агитпропа ЦК».

Да, действительно, вот и сейчас Жорес Медведев, отбиваясь от «критики и клеветы» со стороны диссидентов, в частности со стороны Александра Исаевича Солженицына, писателя Владимира Максимова, писателя Лидии Чуковской, литературоведа-германиста Льва Копелева… отбиваясь от этих нападок, называемых Жоресом Медведевым «клеветой» — он, в свою очередь, заявляет, что сейчас настолько большие шаги сделаны в стране по пути либерализации, что, например, вы

свободно можете говорить с Москвой по телефону, получать и передавать туда любые сведения… И это говорится в те дни, когда было опубликовано заявление академика Андрея Сахарова о том, что ему не дают разговаривать по телефону…

К интервью Жореса Медведева

10 января 75

«Поэма о Сталине», четвертая глава — «Ночной разговор в вагоне-ресторане».

Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога…
Дай-ка, братец, мне трески
И водочки немного…
.....
Помню, глуп я был и мал,
Слышал от родителя,
Как родитель мой ломал
Храм Христа Спасителя.
Бассан-бассан-бассана,
Черт гуляет с опером,
Храм — и мне бы — ни хрена,
Опиум как опиум!
А это ж Гений всех времен,
Лучший друг навеки!
Все стоим, ревмя ревем —
И вохровцы, и зэки…
.....
Отвяжитесь, мертвяки!
К черту, ради Бога…
Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога…

У микрофона Галич…
Поэма «Размышления о бегунах на длинные дистанции»

11 января 75

…Так и шли они по миру безучастному,
То проезжею дорогой, то обочиной…
Только тут меня позвали к Семичастному,
И осталась эта песня неоконченной.
Объяснили мне, как дважды два, учебники,
Что волшебники — счастливые волшебники.

И не зря играет музыка —
Ламца-дрица, об-ца-ца!..

Эта песня была написана в то время, когда Семичастный еще находился на своем посту, был всесилен. Это тот самый Семичастный, который обозвал, мерзавец, словом «свинья» Бориса Леонидовича Пастернака, тот самый Семичастный, который пытался оклеветать Александра Исаевича Солженицына.

Мне иногда говорят, зачем я в стихи и в песни вставляю фамилии, которые следовало бы забыть. Я не думаю, что их надо забывать, я думаю, что мы должны хорошо их помнить. Я недаром написал в одной из своих песен, песне памяти Пастернака: «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня, могут обладать силой физической пощечины…

У микрофона Галич…

«Песня про несчастливых волшебников или эйн, цвэй, дрэй!»

18 января 75

… Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, русским поэтом, который временно живет не в России и — я не уехал, меня заставили уехать на какое-то время, потому что я вернусь, я всегда буду возвращаться, и мое отношение к этому факту, к исходу, оно остается прежним, неизменным…

У микрофона Галич…

«Песня исхода»

18 января 75

… А вот два дня тому назад я получил маленькую записочку. Это — листок бумаги, который мне доставил особенную радость. Этот листок бумаги пришел от вас, из Советского Союза, и, пожалуй, давно я не испытывал такой радости, такого счастья и не могу с вами не поделиться… на листке этом сверху написано так: «Песня о Галиче, которую поют сейчас студенты»… Я не могу вам ее ни сыграть, ни спеть, потому что я не знаю мотива, — песня просто написана на листке бумаги, — но вот сейчас я вам ее прочту:

В Норвегии все куплено, все продано,
В Норвегии веселое житье,
Но на роду написана мне родина,
И никуда не деться от нее.
Искать не стану тихого пристанища,

Сулить не стану царства за коня,
Но пусть ночами хриплый голос Галича
Звучит в магнитофоне для меня…

Панорама

25 января 75

… Песня эта была написана впервые, может быть, для самого себя. Песня не то чтобы в утешение, но какая-то попытка грустно пошутить по поводу своей странной писательской судьбы…

Ах, как мне хотелось, мальчишке,
Проехаться на велосипеде.
Не детском, не трехколесном,—
Взрослом велосипеде!
.....
…Немножко пройдет, немножко,
Каких-нибудь тридцать лет,
И вот она, эта книжка,
Не в будущем, в этом веке!
Снимает ее мальчишка
С полки в библиотеке!
А вы говорили — бредни!
А вот через тридцать лет…

Пылится в моей передней
Взрослый велосипед.

И вот сегодня, когда я говорю с вами, передо мной на столе лежит моя новая книжка. Я могут действительно потрогать ее руками, погладить ее обложку. Это не первая моя книжка, изданная на Западе, но это первая книжка, в работе над которой я принимал непосредственное участие…

У микрофона Галич…

«Песня про велосипед»

3 февраля 75

… Я не думаю, что мы здесь будем потеряны, я не думаю, что мы здесь не сможем продолжать своей работы. И вероятно… она потребует от нас каких-то новых качеств, и они придут не сразу, но мир этот, в который мы сейчас с вами попали, в общем, не враждебен нам, и вот ощущение того, что этот мир хочет нам помочь и многие в этом мире хотят нас слышать и слушать…

Радиожурнал Европа сегодня
Впечатления об Англии

3 февраля 75

… Она росла в хорошей семье, семья эта распалась: отца арестовали, мать умерла. Она вышла замуж за калеку, человека без ног, пришедшего с войны… нянчилась с ним, как с ребенком, и поступила сюда — в вагон-ресторан официанткой… Раздался голос буфетчицы: «Эмма, иди сюда!». Эмма сказала: «Извините, вот видите, наверно, мне очень влетит за то, что я с вами сидела». Через несколько мгновений она подошла ко мне снова и села. У нее было белое лицо… просто ни кровинки в лице не было. Я говорю: «Что случилось? Неприятности?». Она говорит: «Нет. Другое». Я говорю: «Ну, а что?». Она говорит: «Со мной это в первый раз. Я не знаю… я не знала об этом. Они предлагают… вам… купить меня».

Программа для женщин
Рассказывает Александр Галич

11 февраля 75

…Существование Александра Исаевича, само его творчество, сама его жизнь подтверждают то, что он, находясь по ту сторону границы, находясь за рубежом, не сложил оружия, продолжает бороться, продолжает творить, продолжает создавать новые, новые великолепные произведения… Было время, когда всю огромную территорию Советского Союза покрывала, как панцырь, как льды во время ледникового периода, покрывала белая раковая опухоль, белые пятна обледенения — страха. Боялись все, боялись колхозники и рабочие, боялись интеллигенты и чиновники. И если чем-нибудь особенно примечательным в истории советской страны, Советского Союза, России и останутся шестидесятые-семидесятые годы, то это, пожалуй… таяние этих ледовых покрытий на территории Советского Союза. И, пожалуй, первым среди тех, кто помог этому процессу, кто возглавил этот процесс уничтожения страха, был — Александр Исаевич Солженицын…

У микрофона Галич…
Годовщина изгнания Солженицына

22 марта 75

…Людям, как бы ни менялись они с годами, трудно отделаться от сентиментально-снисходительного отношения к собственной юности: еще в конце сороковых и начале пятидесятых годов мы — уцелевшие участники спектакля «Город

на заре» — созванивались, а порою и встречались в день пятого февраля, день премьеры.

Когда в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году драматург Алексей Арбузов опубликовал эту пьесу под одной своей фамилией, он не только, в прямом значении этого слова, обокрал павших и живых.

Это бы еще, как ни странно, полбеды!

Отвратительнее другое — он осквернил память павших, оскорбил и унизил живых!

Уже зная все то, что знали мы в эти годы, — он снова позволил себе вытащить на сцену, попытаться выдать за истину ходульную романтику и чудовищную ложь: снова появился на театральных подмостках троцкист и демагог Борщаговский, снова кулацкий сынок Зорин соблазнял честную комсомолку Белку Корневу, а потом дезертировал со стройки, а другой кулацкий сынок Башкатов совершал вредительство и диверсию… В разговоре с одним из бывших студийцев я высказал как-то все эти соображения. Слова мои, очевидно, дошли до Арбузова, и пятнадцать лет спустя, на заседании Секретариата СП, на котором меня исключат из членов Союза, Арбузов отыграется, Арбузов возьмет реванш и назовет меня ни больше, ни меньше как мародером.

В доказательство он процитирует строчки из песни «Облака»:

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял…
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям!..

— Но я же знаю Галича с сорокового года! — патетически воскликнет Арбузов. — Я же прекрасно знаю, что он не сидел!..

Правильно, Алексей Николаевич, не сидел! Вот если бы сидел и мстил, — это по вашему пониманию было бы еще доступно! А вот так, просто, взвалить на себя чужую беду, класть «живот за друга своя» — что за чушь!..

У *микрофона Галич…*

«Генеральная репетиция»

12 апреля 75

…Зал Дома ученых в новосибирском Академгородке. Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже продавались билеты.

Я только что исполнил… песню «Памяти Пастернака», и вот, после заключительных слов, случилось невероятное — зал, в

котором в этот вечер находилось две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча, прежде чем раздались первые аплодисменты.

Будь же благословенным это мгновение!

У микрофона Галич…

«Генеральная репетиция»

19 апреля 75

… Когда занавес наконец закрылся и в зале включили свет, оказалось, что я ошибся. Никто и не думал плакать. Просто бутылочную начальницу окончательно прохватил насморк.

Отсморкавшись и с достоинством запихав платочек в рукав, она обернулась… и сказала с искренним огорчением:

— Как это все фальшиво!.. Ну, ни слова правды, ни слова!..

И тут я не выдержал!

Бешенство залило меня, как озноб, и, уже не помня себя, я проговорил отчетливо и громко:

— Дура!

… Дней через десять мы будем сидеть с нею вдвоем в ее служебном кабинете на Старой площади, в здании КПСС…

…Здесь сердце и мозг страны, здесь ее святая святых!

И в этой святой святых я услышал такие слова — доверительно наклонившись ко мне через стол, округлив маленькие бесцветные глазки, Соколова сказала:

— Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?! Это евреи-то!

Я сделал неуверенный протестующий жест, но Соколова строго сказала:

— Нет, вы обождите, не перебивайте меня! Ведь вы ко мне пришли, чтобы мое мнение выслушать, верно? Вот я вам его сейчас и выскажу!

Она побарабанила пальцами по столу:

— Еврейский вопрос, Александр Аркадиевич, — она необыкновенно тщательно, по слогам, выговаривала мое отчество, — это очень сложный вопрос! К нему, знаете ли, с кондачка подходить нельзя. В двадцатые годы — так уж оно получилось, — когда русские люди зализывали, что называется, раны, боролись с разрухой, голодом — представители еврейской национальности, в буквальном смысле слова, заполонили университеты, вузы, рабфаки… Вот и получился перекос! Возьмите, товарищ Галич, к примеру, — кино…

Она сделала паузу и, понизив голос, почти шепотом проговорила:

— Ведь они же евреи!

Она снова повысила голос и почти в упор спросила меня:

— Должны мы выправить это положение?

И сама, не дождавшись моего ответа, твердо сказала:

— Должны! Обязаны выправить! Вот, говорят — я сама слышала — будто мы, как при царском режиме, собираемся процентную норму вводить!.. Чепуха это, поверьте!.. Никакой процентной нормы мы вводить не собираемся, но…

Она погрозила пальцем какому-то незримому оппоненту:

— Но, дорогие товарищи, предоставить коренному населению преимущественные права — это мы предоставим!..

… Так впервые, зимою тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, во вполне дикарском изложении бутылочной Соколовой я услышал о теории «национального выравнивания».

Впоследствии, в целом ряде выступлений, статей… теория эта получит свое вполне наукообразное оформление. Впрочем, от наукообразия дикарская суть этой теории не изменится. Это будет все то же вечное — «Бей жидов, спасай Россию!»

…Соколова продолжала говорить, но я уже больше не слушал и не слышал ее слов, не видел ее лица.

Я увидел другое, прекрасное в своем трагическом уродстве, залитое слезами лицо великого мудреца и актера Соломона Михайловича Михоэлса. В своем театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы, документы и фотографии — о Восстании в Варшавском гетто.

… Всхлипывая, он все перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своем огромном столе, все перекладывал и перекладывал их с места на место, словно пытаясь найти какую-то ведомую только ему горестную гармонию.

Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил:

— Ты не забудешь?

Я покачал головой.

— Не забывай, — настойчиво сказал Михоэлс, — никогда не забывай! Этого нельзя забывать!

Я не забыл, Соломон Михайлович!
… Уходит наш поезд в Освенцим,
Наш поезд уходит в Освенцим —
Сегодня и ежедневно!

И другое лицо увидел я — зеленоглазое, слегка насмешливое, необычайно красивое лицо поэта Переца Маркиша.

… Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей (существовала когда-то такая секция!). После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно — хоть и не знал даже языка — должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстуке (часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью) и где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому.

И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо:

— А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка, убирайтесь отсюда вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!..

Я опешил. Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось?

…Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие — и среди них Маркиш — физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование.

И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно, нарочито громко назвал меня «чужим» и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке жизнь.

Я этого не забыл, Перец, я этого никогда не забуду!

У микрофона Галич…

«Генеральная репетиция»

9 мая 75

9 мая в Советском Союзе отмечается День Победы над Германией, день завершения Второй мировой войны. Девятого мая Елена Боннэр и Андрей Сахаров продолжают голодовку, которую они объявили в знак протеста против отказа советских властей выдать Елене Боннэр разрешение на выезд в Италию для лечения ее тяжелейшего заболевания глаз, то есть она фактически слепнет. Не примечательное ли это совпадение? Девчонкой, школьницей Елена Боннэр, Люся Боннэр, как называют ее друзья, ушла на фронт. Она всю войну пробыла на фронте, она была тяжело ранена, несколько раз; она была награждена орденами и медалями, которые она потом вернула. И вот героине войны, женщине слепнущей, женщине, которую можно спасти, не дают этого разрешения, чтобы ее спасти… Она продолжает голодовку в день праздника Дня Победы…

… Надо называть вещи своими именами: продолжается война советского правительства с советским народом. И как во всякое военное время, держат заложников. И вот таким заложником сегодня является Елена Боннэр, потому что она — честный, мужественный человек, потому что она выступает в защиту угнетенных, в защиту прав человека, потому что она — жена замечательного человека, замечательного ученого, замечательного гражданина — Андрея Дмитриевича Сахарова. Ее держат как заложника, продолжая войну со своим народом.

Голодовка Сахарова

23 мая 775

Удивительное дело: нет-нет да и выскочат в мировой эфир наши старые добрые знакомые, известные персонажи из великой комедии Николая Васильевича Г оголя «Ревизор» — Бобчинский и Добчинский. Выскочат и начнут вопить, верещать о том, что вот, дескать, необычайное происшествие, неожиданное известие, ну все те слова, которые положено им кричать по их незавидной роли сплетников и врунов. Откровенно говоря, я не слишком часто читаю сообщения АПН и ТАСС, касающиеся международных событий, поскольку я знаю, что именно АПН и ТАСС выступают в роли Бобчинского и Добчинского. Но вот вчера мне позвонил из Парижа мой друг и довольно обеспокоенно спросил меня: «Что там у вас происходит на радиостанции?». Я сказал: «Помилуй Бог! Ничего не происходит. Работаем, живем, все нормально». Он сказал: «Ну как же, разве ты не читал сообщение ТАСС, подписанное некой Натальей Зиновьевой, о том, что у вас происходит просто Бог знает что?». И он мне прочел даже несколько цитат из этого сообщения очередного Бобчинского, который на сей раз принял женское обличив, псевдоним Наталья Зиновьева. И вот она пишет о том, что все чаще раздаются голоса протеста против расходования средств американских налогоплательщиков на клевету в эфире, выдержанную в духе холодной войны. Она пишет о том, что персонал Свободной Европы и радиостанции Свобода включает самые темные личности… провокаторов, шпионов, и что, видно, радиопровокаторы эти не оправдывают свой хлеб; аудитория, на которую рассчитана пропаганда их, с отвращением отвергает эту клеветническую стряпню; этот непреложный факт — хотя и с опозданием — видно, начинает доходить до боссов радиостанции.

Когда мой друг прочел эти слова, я невольно и удивился, и улыбнулся… У меня на столе как раз лежало только что… полученное нами сообщение. Это — заявление, сделанное

председателем… Совета по интернациональному радиовещанию мистером Давидом Абшайром… в Конгрессе. Вот что буквально сказал мистер Абшайр: «Мы считаем, что Радио Свобода и Свободная Европа, как никакие другие радиостанции, оказывают бесценную помощь населению Советского Союза и стран Восточной Европы, давая им объективную информацию о событиях в мире и в их собственных странах и помогая тем самым формированию у них общественного мнения…»

Вот что сказал мистер Абшайр пятого мая сего года, выступая перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. А пятнадцатого мая Наталья Зиновьева, она же господин Бобчинский из комедии «Ревизор», сообщила о том, что боссы радиостанций начинают понимать, что деньги налогоплательщиков расходуются зря.

Ну что ж, Бобчинскому и Добчинскому… полагается кричать: «Неожиданное происшествие, невероятное известие!». Эти роли для них написаны заранее, эти роли им предписаны заранее, и никаких других слов они говорить не могут. Такова воля сочинившего их автора.

Реплика на сообщение ТАСС о радиостанциях Свобода и Свободная Европа

24 мая 75

…Сегодня я собираюсь в дорогу — в дальнюю дорогу, трудную, извечно и изначально — горестную дорогу изгнания. Я уезжаю из Советского Союза, но не из России! Как бы напыщенно ни звучали эти слова — и даже пускай в разные годы многие повторяли их до меня, — но моя Россия остается со мной!

У моей России вывороченные негритянские губы, синие ногти и курчавые волосы — и от этой России меня отлучить нельзя, никакая сила не может заставить меня с нею расстаться, ибо родина для меня — это не географическое понятие, родина для меня — это и старая казачья колыбельная песня, которой убаюкивала меня моя еврейская мама, это прекрасные лица русских женщин — молодых и старых, это их руки, не ведающие усталости, — руки хирургов и подсобных работниц, это запахи — хвои, дыма, воды, снега, это бессмертные слова:

Редеет облаков летучая гряда!
Звезда вечерняя, печальная звезда…

И нельзя отлучить меня от России, у которой угрюмое мальчишеское лицо и прекрасные — печальные и нежные — глаза говорят, что предки этого мальчика были выходцами из Шотландии, а сейчас он лежит — убитый — и накрытый

шинелькой — у подножия горы Машук, и неистовая гроза раскатывается над ним, и до самых своих последних дней я буду слышать его внезапный, уже смертный — уже оттуда — вздох.

Кто, где, когда может лишить меня этой России?!

В ней, в моей России, намешаны тысячи кровей, тысячи страстей — веками — терзали ее душу, она била в набаты, грешила и каялась, пускала «красного петуха» и покорно молчала, но всегда в минуты крайней крайности, когда казалось, что все уже кончено, все погибло, все катится в тартарары, спасения нет и быть не может, искала — и находила — спасение в Вере!

Меня — русского поэта, — «пятым пунктом» — отлучить от этой России нельзя!

У микрофона Галич…

«Генеральная репетиция»

16 июня 75

Зотова: Александр Аркадьевич, вот уже почти год, как вы переехали на Запад… Какое впечатление на вас произвела так называемая заграница?

Галич: Вы знаете, Галина Николаевна, я в предверье этой даты полагал и догадывался… что вы вероятно зададите мне этот вопрос, и честно говоря, разумного или, скажем, исчерпывающего ответа я на него пока не нашел… я все время колеблюсь в выборе формулы, всего только год и — уже целый год… В те минуты, они наступают иногда совсем неожиданно, иногда среди бела дня, иногда вечером, иногда, когда просыпаюсь ночью, когда тебя охватывает, не могу скрыть этого, ужасная тоска по родным, близким, которые остались там и с которыми уже теперь не доведется, может быть, увидеться никогда, то. думаешь — целый год. А когда представляешь себе, сколько за этот год тебе довелось увидеть, сколько стран, сколько необыкновенных городов, сколько удивительных, прекрасных людей, о существовании которых ты — о некоторых знал по радио, знал из печати, а о некоторых даже и не думал, то думаешь — всего только год, и так много уже событий было в твоей жизни…

…Вот если мне действительно все-таки решиться сформулировать свое впечатление от заграницы, эта удивительная жизнь русских людей, сохранивших язык, сохранивших культуру, сохранивших любовь к своей родной земле, испоганенной, искалеченной, изуродованной тем бытом, тем строем, который сейчас существует в нашей стране, и все-таки тоскующих по ней, не забывающих ее, преданных ей. И, пожалуй, встреча и знакомство с этими людьми, с разными

поколениями эмиграции, как у нас теперь тут, за границей, принято говорить, где условно делят эмиграцию на три потока: первый, второй, третий. Я как-то стараюсь русских людей, которых я встречаю, не делить на эти потоки, мы все едины, все от одного корня, от одного языка, от одного Пушкина…

Зотова: Александр Аркадьевич, правда ли это, или мне только так кажется… что вы живете до сих пор московскими интересами?

Галич:… Вся моя жизнь здесь, вся моя работа здесь — она направлена на то, чтобы не отрываться от родных, от близких, от родного языка, от интересов наших сегодняшних, завтрашних, главным образом даже, пожалуй, завтрашних, вот во имя этих завтрашних интересов, во имя нашей продолжающейся борьбы со страхом, потому что я думаю, в меру своих способностей каждый из нас, я говорю о тех людях… оказались за бортом Союза советских писателей или Союза советских композиторов или художников и так далее, каждый из нас вносил свою лепту в борьбу со страхом, со страхом в человеческих душах, с уничтожением этого страха…

Зотова: Галич там — это было одно, он был запрещенный, он был гонимый, он был инакомыслящий, и вот теперь Галич свободный в свободном мире… Как вы воспринимаете вашу новую роль?

Галич:…У меня очень странное в этом смысле впечатление. Мне кажется, что если там — на родине, дома — меня хотели слушать почти все, вплоть даже до тех, кто был со мной не согласен или делал вид, что не согласен со мной, то здесь меня хочет слушать значительно меньшее количество народу, чем там. Но я думаю, что ведь и там нас начали слушать не сразу. И там мы постепенно завоевывали своего слушателя, своего читателя. Я думаю, что, вероятно, одна из важнейших задач здесь — это завоевать аудиторию, хотя бы даже иноговорящую, но завоевать ее… попытаться заставить-слушать себя. Я много раз говорил об этом, что мы никого не собираемся ни в чем убеждать, мы просто просим прислушаться к нашему опыту, мы рассказываем о том, как мы там жили, и вот делайте выводы из этого, из наших рассказов…

Обзор культурной жизни
Беседа с Александром Галичем

21 июня 75

…Историю моего путешествия в Америку можно было бы назвать, пожалуй, «историей моих изумлений». Потому что изумления меня преследовали во время всего моего путешествия,

во время всего моего пребывания в этой стране…

…Надо сказать, что путешествие было не слишком легким… Мы попали в довольно сильный шторм над Атлантикой — нас очень мотало, и надпись, световая надпись, световое табло «Fasten your seatbelts» не гасло ни на одну секунду. И несмотря на то, что нам показывали фильмы по дороге, какую-то абсолютно идиотскую картину… Кстати, она очень напомнила мне один из моих собственных идиотских фильмов под названием «Государственный преступник», — вот это было нечто вроде такого «Государственного преступника» — но летели мы тяжело.

А пилоты на этих американских линиях, они, как свойственно всем американцам., любят острить. Поэтому наш пилот непрерывно острил… сначала он сообщил нам, леди и джентльмены, у меня для вас очень печальное известие… Некоторые люди попадали в инфаркты, некоторые удержались от этого на самом краю, так сказать, гибели… Но пилот сообщил: «… Дело в том, что у нас кончается тоник, и джин придется пить либо с водой, либо с содовой…»

… В конце концов… тот же пилот — начальник нашего корабля (чив) сообщил все с тем же своим англосаксонским юмором: «Просвета я не вижу, но все-таки пора уже садиться, мы уже и так опаздываем на два часа, и вот, если Бог нам поможет, то мы постараемся как-нибудь сесть…»

…Действительно, минут через двадцать в проливном дожде и тумане мы сели на аэродроме Кеннеди в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки.

…Под проливным дождем мы добежали до машины и поехали в Нью-Йорк. Я должен сказать, что я сидел в машине и почти не разговаривал с друзьями, которых я давно не видел — я все смотрел в окно и ждал, когда, наконец, начнется этот знаменитый Нью-Йорк, этот город «желтого дьявола», этот ошеломительный город, в котором ни днем, ни ночью нельзя уснуть, в котором гремят джаз-банды и безработные валяются на тротуарах, а богачи разъезжают в каких-то невероятных лимузинах…

Мы все ехали и ехали, пока я, наконец, робко не спросил: «А где же, собственно, Нью-Йорк, когда мы попадем в Нью-Йорк?»

И мне друзья сказали: «Как, мы давно уже едем по Нью-Йорку, мы сейчас проезжаем район Квинс — это очень большой район Нью-Йорка». «Да где же, собственно, Нью-Йорк? Там какие-то стоят домики, окруженные лесом…». «Вот это и есть Нью-Йорк. А ты, очевидно, ждешь Манхэттен? Ну, Манхэттен — это одна часть только Нью-Йорка, это только средняя его часть, это остров, на котором расположены все небоскребы, а вся остальная часть

Нью-Йорка… самые знаменитые его и самые большие районы, такие, как вот район Квинс… они такие… одноэтажные».

И я вспомнил, естественно, книгу Ильфа и Петрова об одноэтажной Америке, но, должен сказать, что и она, как я ее вспомнил, не дает представления о той, совершенно необыкновенно уютной и очень вместе с тем европейской одноэтажной Америке, которая является, в общем, основной частью… этой американской жизни.

У микрофона Галич…

Путешествие в Америку

28 июня 75

…Когда я даже лежал в постели, мне казалось, что постель эта пошатывается так же, как пошатывался самолет, когда мы перелетали через океан. Утром я проснулся рано… естественно, сказывалась все-таки разница во времени, и пошел, побежал просто смотреть город. Конечно, Манхэттен, вот центр Нью-Йорка, вот этот знаменитый Манхэттен производит ошеломляющее впечатление, хотя должен вам сказать, что вот такого двадцать первого века, которого мы все ждем от Америки… наша идеализация Америки… оказывается не совсем… оправданной.

В этот вечер мне довелось присутствовать и принимать участие в замечательном мероприятии. Это был Торжественный обед, который устраивали рабочие профсоюза, руководители, члены рабочих профсоюзов Америки в честь господина Абеля, руководителя профсоюза сталелитейных работников, который в этот вечер награждался медалью Юджина Виктора Депса, одного из основателей, первых лидеров рабочих профсоюзов Америки.

И вот я сидел за парадным столом, в огромном зале большого отеля… в этом огромном зале присутствовало очень много людей. Это были рабочие по самому настоящему счету, это были люди из разных профсоюзов. Тут были и портные, и рабочие железных дорог, тут были рабочие сталелитейной промышленности, и вел этот вечер… замечательный певец и замечательный деятель Баярд Растин, председатель социал-демократов Соединенных Штатов Америки, негр, и вел он этот вечер необыкновенно интересно, потому что он и говорил, и объявлял имена выступающих, и пел. Он вдруг где-то в середине своего выступления, своей речи начинал петь старые негритянские «спиричуалс», которые подхватывал весь зал.

И впечатление от этого вечера было… необыкновенно мощным… это были те люди, хозяева страны, рабочие, которые являются хозяевами страны, которые диктуют крупнейшим

корпорациям свои условия. Они диктуют, они настаивают на них, они умеют добиваться своих рабочих прав.

В конце этого вечера господин Растин предоставил слово мне и представил меня как своего собрата… Я выступил, сказал несколько слов по-английски, насколько мне позволял мой английский язык. Я сказал о том, что это мой первый день в Америке, о том, что это мой первый вечер и мое первое выступление в Америке. Я даже пошутил — что было правда, — … что это мой первый американский костюм, купленный сегодня специально для этого вечера.

И потом я спел несколько своих песен, в частности, спел «Старательский вальсок», который прекрасно перевел мой друг и человек, который много занимается историей советской песни протеста, Джин Сосин… в его переводе я спел «Старательский вальсок». Так закончился мой первый день в Америке, а потом начались сумасшедшие дни… Масса встреч, масса выступлений, масса интервью. Но, пожалуй, среди всего этого необыкновенно насыщенного и напряженного времени самое огромное впечатление оставило у меня посещение Толстовского фонда или знаменитой толстовской фермы, куда я был приглашен на блины.

Впечатление от Толстовского фонда воистину ошеломляющее, и Александра Львовна Толстая, которой, как известно, уже пошел десятый десяток лет и которая полна энергии, внимания, с которой изумительно просто разговаривать, и ее ближайшая помощница, тоже уже совсем немолодая женщина, Татьяна Алексеевна Шауфус, которая практически занимается сейчас большинством… деловых проблем, связанных с жизнью и существованием Толстовского фонда. И я должен сказать откровенно, просто в ноги надо поклониться этим замечательным женщинам. Сколько сделали они, и не только для русских изгнанников!

Вот недавно совсем Татьяна Алексеевна Шауфус звонила мне из Женевы. Я спросил, что вы делаете в Европе? Она сказала, ну как же, вы же знаете, что произошло во Вьетнаме, нужно же что-то организовать для вьетнамских беженцев. И вот всюду, в любом уголке земного шара, где кто-нибудь нуждается в помощи, где нужна доброта, где нужно участие, появляются представители Толстовского фонда, появляется Татьяна Алексеевна Шауфус, которая в свои восемьдесят лет садится спокойно в самолет и перелетает через океан… Я, может быть, говорю об этом с придыханиями, но я… должен признаться здесь по радио сейчас вам, дорогие мои, что я просто влюблен в этих женщин.

У микрофона Галич…

Путешествие в Америку

5 июля 75

…Вашингтон тоже не похож на тот Вашингтон, как мы себе его представляли — на чиновный строгий город… Он очень живой, он… мне показался… даже в чем-то прелестнее Нью-Йорка, потому что он более домашний, он более уютный, в нем больше зелени…

В Вашингтоне программа наша была тоже необыкновенно напряженная — мы там встретились с Владимиром Емельяновичем Максимовым и вместе с ним выступали в Сенате, отвечая на вопросы разных друзей. Мы вместе с ним выступали на обеде у председателя иностранного радиовещания Америки, мистера Абшайра, и разговаривали с сенаторами и другими деятелями, политическими и культурными. У меня были встречи со многими литераторами, таким замечательным человеком как Баррон (автор нашумевшей здесь на Западе большой книги, которая называется устрашающе «КГБ»).

… Я познакомился с Юрием Елагиным, автором книг, которые многие из нас, вероятно, уже читали в Советском Союзе — книг «Укрощение искусства» и «Темный гений» о Мейерхольде.

… Я познакомился с Филипповым, которому я высказал просто нашу великую благодарность за предпринятое им издание русской поэзии…Как вы знаете, он ее издает вместе со Струве…

Программа моих выступлений была тоже чрезвычайно напряженной в Вашингтоне: интервью, пресс-конференции, концерты. Виделся я там второй раз в жизни… с сенатором Джексоном… Узнав, что я нахожусь в Вашингтоне, сенатор любезно пригласил меня придти к нему и поговорить.

…Был я на Арлингтонском кладбище, которое произвело на меня незабываемое впечатление. Это необыкновенно гордое кладбище, другого слова я не могу подобрать, гордое, потому что в нем чувствуется благодарность народа своим героям, благодарность большой страны, великой страны Америки к людям, которые защищали ее права, ее свободу, ее убеждения.

У микрофона Галич…

Путешествие в Америку

7 июля 75

Ведущий:… С 9 по 14 июня в Роттердаме проходил фестиваль поэзии «Поэтри Интернэшнл 1975». Мы попросили одного из его участников, Александра Аркадьевича Галича поделиться своими впечатлениями.

Галич: Пожалуй, самое интересное, что я видел на этом фестивале, — это зрительный зал. В огромное помещение — этот

дворец называется «Ван Дулен» — ежедневно набивалось тысяча с лишним человек, которые приходили слушать поэзию…

… Просто примечателен сам факт, что в общем в маленькой стране, стране довольно благополучной и довольно скучной, как они сами о себе говорят откровенно, вот такой невероятный интерес к поэзии.

Ведущий: Но чем вы объясните этот интерес?…Тем, что поэзия ищет какие-то новые формы выражения, что она рвет с наскучившей традицией?

Галич: Вы знаете, в отношении к поэзии я консерватор дикий. Я не считаю, что поэзия в той своей консервативной форме, то есть в форме законченного стиха, с рифмой, с ритмом, с определенной конструкцией изжила себя и исчерпала свои возможности… Понимаете, для меня поэзия — это все-таки всегда до какой-то степени крик о помощи. А кричать о помощи, так сказать, абстрактными звуками нельзя, никто не придет на помощь, если ты будешь издавать… нечленораздельные звуки…

Обзор культурной жизни

Фестиваль поэзии в Роттердаме

12 июля 75

… Я распрощался с Вашингтоном и вернулся в Нью-Йорк… Когда мы подъехали к перрону Нью-Йорка… то я увидел, как по перрону бегает, размахивая руками, мой замечательный друг из Советского Союза, замечательный поэт, замечательный прозаик и вообще замечательный человек, которого я иначе как «любимцем всея Руси» даже и назвать не могу. Это был Наум Коржавин.

Мы ходили с Коржавиным по Нью-Йорку, мы побывали в самом большом магазине мужского платья, так он и объявлен: «Самый большой магазин в мире мужской одежды»…

Довелось мне еще повидаться на дне рождения Ростроповича с замечательным нашим русским поэтом, который раньше нас всех приехал из Советского Союза, с Иосифом Бродским…

У микрофона Галич…

Путешествие в Америку

26 июля 75

Человечество имеет все основания ликовать, торжествовать, радоваться: Всемирный совет мира вручил награду выдающемуся борцу за дело дружбы между народами Михаилу Александровичу Шолохову… Вручавший эту премию Генеральный секретарь Всемирного совета мира Чандра сказал, что эта премия вручается… Шолохову за выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы между народами.

Ну что ж, действительно, вклад Михаила Александровича Шолохова в укрепление дружбы и мира между народами воистину не объять. Мы помним, с каким остервенением и с какой радостью он занимался травлей выдающегося советского поэта Бориса Леонидовича Пастернака, мы помним, как он пытался организовать травлю Оренбурга. Мы помним, как он кричал о том, что писателей Синявского и Даниэля нужно не судить, а расстрелять… Мы помним, как активно он включился в травлю другого лауреата Нобелевской премии писателя Александра Исаевича Солженицына и академика Сахарова…

По Советскому Союзу

Премия мира Шолохову

26 шюля 75

…14 июля — это национальный день, национальный праздник Франции, праздник официальный и неофициальный. Там устраиваются парады, висят всюду флаги, но он и неофициальный, потому что выплескивается на улицы, на улицах танцуют, пускают фейерверки, играют оркестры.

На следующий день после этого праздника произошло событие, о котором я вам хочу рассказать. Владимир Емельянович Максимов, писатель, главный редактор журнала «Континент», Андрей Донатович Синявский, Виктор Платонович Некрасов и я были приглашены к министру юстиции на званый парадный обед в самом Министерстве юстиции. С французской стороны был министр юстиции, один из первых государственных чиновников Франции, председатель партии федералистов, мэр города Руана… Обед, как принято писать у нас в печати, прошел в чрезвычайно дружеской обстановке, в чрезвычайно теплой атмосфере. Мы поблагодарили

Францию за ее постоянное гостеприимство, оказываемое вот уже в течение шестидесяти лет русским людям, оказавшимся за рубежом…

…Эмиграция существует уже давно, и в эмиграции были такие люди, как Шаляпин, Бунин, Рахманинов, Куприн, Шмелев, Шагал — всех не перечислишь… Но впервые представителей русской эмиграции принимают на таком высоком государственном уровне…

У микрофона Галич…

Рассказ о Париже

7 декабря 75

…Вот это… та земля, где началась современная история человечества. Все это… именно та самая земля, вот она у тебя

сначала под крылом самолета, а потом все ближе, ближе и ближе, и серебристый красавец садится на взлетную полосу, подруливает к аэродрому… Я прилетел… вышел… начали целоваться, обниматься, говорить всякие нежные слова, а потом кто-то из встречавших меня шепнул: «А тут вот есть, стоит один очень старый человек, который сказал, что он тоже пришел встречать… Вот он стоит». Я посмотрел… крикнул: «Роман!». Он сказал: «Саня!». Я сказал: «Роман, ты знаешь, я тебя узнал». Он сказал: «Я тебя тоже узнал, правда, проще, потому что я видел твои фотографии в газете». Мы с ним не виделись, с дядей моим Романом, ни много, ни мало пятьдесят лет… Я вспомнил… моя тетка, тетя Оля, она уезжала первая… на корабле… тогда еще не было никакого государства Израиль. Тогда это называлось Палестина… Палестина — это та страна, куда уходят корабли. Палестина — это была та страна, куда уходили корабли моего детства…

У микрофона Галич…
Поездка в Израиль

28 декабря 75

…Короткая… техническая справка. За время моего пребывания в Израиле я дал восемнадцать концертов — восемнадцать выступлений… всего на мои концерты… пришло — слушало меня больше четырнадцати тысяч человек… Побывал я в тринадцати городах. И все эти города по существу отвоеваны у пустыни. Все эти города построены, как детские сказочные домики, построены на песке. И когда я ездил, я все время думал о том, как это странно, как… люди здесь отвоевали песок, отвоевали пустыню, завоевали ее, завоевали место себе здесь…

Только
Ногой ты ступишь на дюны эти,
Болью — как будто пулей — прошьет висок.
Словно из всех песочных часов на свете
Кто-то — сюда веками — свозил песок!
… Сколько
Утрат, пожаров и лихолетий?
Скоро ль сумеем мы подвести итог?!
Помни —
Из всех песочных часов на свете
Кто-то — сюда веками — свозил песок…

У микрофона Галич…
Концерты Галича в Израиле

4 января 76

… Ты попадаешь туда, где, собственно, началась современная история человечества, и ты это ощущаешь на каждом шагу, и когда ты подходишь к Стене плача, у которой стоят люди и молятся, разговаривают со своим Богом, а потом… проходишь несколько шагов, и ты попадаешь к гробу Господню, ты видишь Голгофу, ты видишь место, где обмывали Христа, ты видишь место, где он лежал в гробу, и дальше, и дальше… потом ты садишься в машину и ты едешь, и ты попадаешь в усыпальницу Рашель, и ты попадаешь на могилу царя Давида, и ты попадаешь в Гефсиманский сад, и ты попадаешь в усыпальницу жертв Второй мировой войны, и все это вместе, сконцентрированное где-то, по существу, на небольшом пространстве, заставляет тебя подумать не о тщете человеческого существования, наоборот — заставляет тебя подумать, как велика обязанность и ответственность каждого человека, живущего на земле, за свою судьбу и судьбу всех близких и не близких ему людей вот именно здесь, вот именно здесь, вот именно на этом… удивительном пятачке, где началась современная цивилизация…

У микрофона Галич…

Поездка в Израиль

11 января 76

… Иван Ребров поет русские песни и коверкает русские слова. Лариса сказала с самого начала: «Я не буду ни под кого подделываться. Я буду стараться идти своим путем…»… Лариса начала свой путь, свой второй путь в искусстве… как нормальная немецкая актриса, как любая немецкая девушка, женщина, которая начинает свой путь в искусстве… Лариса пропагандирует не только русские песни… Здесь приходят на память высказывания Жуковского о том, что поэт-переводчик является не только другом поэта, которого он переводит, но и соперником… как соперник, как создатель нового жанра песен на чисто немецком языке, на английском языке, на других языках, песен, которые несут в себе русскую культуру. Лариса оказывается на высоте…

У микрофона Галич…

О Ларисе Мондрус

27 января 76

… Для сатирика — это всегда горькая доля. Сатирик — не юморист. Сатирик не тот человек, который развлекает читателя, взявшего книгу перед сном почитать эдак что-нибудь веселенькое.

Сатирик всегда тревожит. Сатирик всегда будоражит человеческие сердца и умы, будоражит совесть, и читать сатирика перед сном не рекомендуется. Читать Михаила Евграфовича Щедрина «скуки ради» перед сном — не советую никому. Он пробудит такую горестную совесть, он заставит вас так задуматься о том, что вы делаете и как вы миритесь с тем миром, в котором вам приходится существовать, что действительно, пожалуй, Салтыкова-Щедрина надо читать на трезвую голову и понимая, что ты берешься читать…

Салтыков-Щедрин, к 150-летию со дня рождения

23 февраля 76

Говорят, что англичане — большие любители традиций. Советская власть тоже любит традиции, и подобную традицию можно заметить на всех буквально съездах коммунистической партии Советского Союза, которые проходили на нашей памяти. Обязательно в дни съезда происходит некий аттракцион: на сцену под звуки барабана и горна выводят группу дрессированных пионеров, и вот эти дрессированные пионеры читают стихи, написанные дедушкой Михалковым от лица своих внуков и правнуков…

Двадцать пятый съезд КПСС и культура

2 мая 76

… Мне кажется, что чувство благодарности — это одно из самых прекрасных чувств человеческой души… И поговорить мне с вами захотелось о поэзии…

… Однажды в одной московской компании я задал провокационный вопрос. Я сказал, — ну вот, друзья мои, мы говорим с вами о поэзии, о стихах, часто обсуждаем их, часто говорим — это стихи, это не стихи. И обычно как-то понимаем друг друга с полуслова. А вот как сделать так, чтобы человек, не привыкший употреблять поэзию, не знающий, что это такое, не привыкший ее слушать, читать, как бы объяснить ему разницу между поэзией и непоэзией, между одной строфой, написанной в рифму, но где она строфа — поэзия, а другая — нет.

В качестве примера темы для этого спора я привел два четверостишия:

Вот иду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги,
Ангел мой, ты видишь ли меня…

Это стихи одного из величайших поэтов девятнадцатого века Федора Ивановича Тютчева… А вот стихотворение, написанное точно таким же размером, в том же ритме…

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой…

У микрофона Галич…
Цикл «Благодарение»
О поэзии

12 мая 76

Среди многих встреч, которые подарила мне судьба… особенно памятна встреча с Марком Львовичем Слонимом. Это было в Женеве, на концерте в русском кружке, основателем и председателем которого долгие годы был Марк Львович Слоним… Я смотрел на него, и мне все как-то не верилось, что это… он самый, тот, о котором мы столько знали, тот, который был почти легендарной фигурой в нашем воображении еще с юно* сти, тот, которому посвящены знаменитые стихи Марины Цветаевой «Попытка ревности».

Как живется вам — хлопочется
Ежится? Встается как?..

… У меня было такое впечатление, как у ярого библиофила, который находит книгу, за которой он много лет охотился, и он знает про нее все, знает, сколько в ней страниц и знает, как выглядит титульный лист, какой на ней рисунок; но совсем другое дело, когда ты только знаешь об этом, и вдруг видишь это воочию, вдруг ты можешь к этому прикоснуться рукою…

Памяти Марка Слонима

15 мая 76

… Режиссеры, которые пытаются говорить что-то искреннее, правдивое, теряют квалификацию, потому что не дают им возможности ставить те фильмы, которые они хотят. Так когда-то задохнулся человек сложный, но безусловно талантливый, Александр Петрович Довженко. Так задохнулся и не выдержал — разорвалось сердце — Василий Шукшин. А драматург, любимец, баловень… советского кинематографа Геннадий Шпаликов… покончил с собой…

К съезду кинематографистов

17 мая 76

… Было мне в ту пору одиннадцать лет, был я начинающим поэтом. Я неизменно выходил немножко раньше из дому, чтобы успеть до начала занятий нашего кружка потолковать и порыться в этом Книжном развале у букинистов… Там однажды я наткнулся на две книжки поэта, которого я не знал, о котором никогда не слышал. Почему-то меня привлекло странное сочетание букв в его фамилии — Владислав Ходасевич… Я купил две книжки «Путем зерна» и «Тяжелая лира»… Придя домой, я раскрыл эти книжки и сразу же наткнулся на стихотворение, которое пронзило меня на всю жизнь. Стихотворение короткое — восемь строчек.

Леди долго руки мыла.
Леди часто руки терла.
Эта леди не забыла
Окровавленного горла.
Леди, леди! Вы как птица
На бессонном бьетесь ложе.
Триста лет уж вам не спится,
Мне лет пять не спится тоже.

Поэт, который написал подобные строчки, может, как говорят в просторечье, спать спокойно.

Культура, события, люди
О Ходасевиче

20 мая 76

И всякий раз, встречаясь с вновь прибывшим, ты не можешь отделаться от того, чтобы не задать ему впрямую или хотя бы мысленно… вопроса: слушай, а почему ты уехал? как сложилась твоя жизнь, творческая жизнь? почему ты предпочел изгнание — жизни на родной земле?.. По-разному складываются судьбы людей. Но та обстановка духовного гнета, та обстановка слепоты, немоты и глухоты, которая воцарилась сейчас, особенно в области культуры на нашей земле, заставляет людей для того, чтобы сказать свое слово, для того, чтобы говорить со своими согражданами — уезжать от своих сограждан…

О судьбах писателей, подвергающихся гонениям в Советском Союзе

22 мая 76

… Он оказался в Мюнхене в дни Олимпиады. Был свидетелем страшного, потрясшего весь мир убийства израильских

спортсменов, и был приглашен на студию, пробно, так сказать, для того, чтобы прочесть Нобелевскую лекцию Солженицына. И вот тогда под утро (а работать ему над этой передачей пришлось от зари до зари), ему пришла в голову та нехитрая мысль, которая, к сожалению, приходит в голову далеко не всем: что есть дела на этой планете поважнее, чем устройство своей личной судьбы, что приехали мы сюда на Запад, как выражались представители первого поколения эмиграции двадцатых годов, «приехали мы сюда не как изгнанники, а как посланники».

У микрофона Галич…

О Юлиане Панине

5 июня 76

… Где-то в конце 60-х годов меня заинтересовала литература философского и религиозного содержания. Я жадно читал все, что можно было достать, и вот среди самиздатской литературы этого толка мне попалась работа священника отца Александра (называть его фамилию я не буду, знающий догадается, для незнающих фамилия не имеет значения). И когда я читал работы этого отца Александра, мне показалось, что это не просто необыкновенно умный и талантливый человек, это человек, обладающий тем качеством, которое писатель Тынянов называл «качеством присутствия».

Я читал, допустим, его рассказ о жизни пророка Исайи и поражался тому, как он пишет об этом. Пишет не как историк, а пишет как свидетель, как соучастник. Он был там, в те времена, в тех городах, в которых проповедовал Исайя. Он слышал его, он шел рядом с ним по улице. И вот это удивительное «качество присутствия», редкое качество для историка и писателя, и необыкновенно дорогое, оно отличало все работы этого священника отца Александра.

Тогда я в один прекрасный день решил поехать и просто посмотреть на него…

Я простоял службу, прослушал проповедь, а потом вместе со всеми молящимися я пошел целовать крест. И вот тут-то случилось маленькое чудо. Может быть, я тут немножко преувеличиваю, может быть, чуда и не было никакого, но мне в глубине души хочется думать, что все-таки это было чудом.

Я подошел, наклонился, поцеловал крест. Отец Александр положил руку мне на плечо и сказал: «Здравствуйте, Александр Аркадьевич. Я ведь вас так давно жду. Как хорошо, что вы приехали». Я повторяю, что, может быть, чуда и не было. Я знаю, что он видел мои фотографии. Знаю, что он интересовался моими стихами. Но где-то в глубине души до сегодняшнего дня мне по-

прежнему хочется верить в то, что это было немножко чудом…

Я вышел на поиски Бога,
В предгорье уже рассвело.
А нужно мне было немного —
Две пригоршни глины всего.
.....
Что знал я в ту пору о Боге
На ранней заре бытия.
Я вылепил руки и ноги,
И голову вылепил я.

И полон предчувствием смутным
Мечтал я при свете огня,
Что будет он добрым и мудрым,
Что он пожалеет меня…

У микрофона Галич…
Цикл «Благодарение»

8 июня 76

… Самиздат больше тревожит власть имущих, власть предержащих и наше так называемое литературное начальство даже не содержанием своим. Он их тревожит критерием степени мастерства… Те философские работы, которые появляются в самиздате, говорят тем языком, которого вы не прочтете ни в какой официальной философской литературе. Повышается уровень, до которого этим литературным чиновникам не дотянуться. Их он тревожит иногда даже больше, чем то, в сущности, о чем написана работа… Устанавливается, как когда-то писал Шкловский, «гамбургский счет», и по этому гамбургскому счету выясняется, что таких-то писателей не существует…

Культура, события, люди
Беседа с Анатолием Гладилиным

12 июня 76

«. Была минута счастья в 1968 году. Весною того года безумцы из новосибирского Академгородка решили организовать у себя в Академгородке фестиваль песенной поэзии. Это был первый и последний фестиваль подобного рода. Я получил приглашение принять участие в этом фестивале.

…В Новосибирске на аэродроме еще лежал глубокий снег, и вот, стоя на снегу, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнища с весьма двусмысленной надписью:

«Барды, вас ждет Сибирь!»

… Мы пели по двадцать четыре часа в сутки: мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу, естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А в последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около двух тысяч человек…

…Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волг». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом прибежал ко мне и сказал, что… прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы и привезли с собой три автобуса, и они собираются устроить обструкцию. Я… почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил этакую веселую злость…

… Я выхожу на сцену и чувствую спиной ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади… Я начал свое выступление с песни «Промолчи», а потом… «Памяти Пастернака». Я спел эту песню. Аплодисментов не было. Зал молчал… зал начал вставать. Люди просто поднимались и стоя, молча смотрели на сцену. Это был знак не какого-то комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация в память Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся и увидел, что молодчикам тоже пришлось встать…..Мне хочется закончить эту беседу песней «Памяти Бориса Леонидовича Пастернака».

Разобрали венки на веники,
На полчасика погрустнели.
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели…

У микрофона Галич…
Цикл «Благодарение»

26 июня 76

… Когда я писал сценарий «Третьей молодости» о Мариусе Петипа, сценарий о французском танцовщике, ставшем великим русским балетмейстером… меня вызвало наше… начальство и сказало: «Слушай, как нехорошо получается». Я говорю: «А что такое?». «Ну, понимаешь, приехал француз и стал обучать русских, как танцевать!». Я говорю: «Ну, он действительно был великим русским балетмейстером…». «Нет, так нельзя. Надо все-таки, чтобы как-нибудь русские тут его чему-нибудь тоже поучили. Вот у тебя там есть сценарий «Петр Ильич Чайковский» — пускай он его чему-нибудь научит»… Ну, я тогда придумал

почти пародийный эпизод, когда Петр Ильич Чайковский обучает Мариуса Петипа, как нужно танцевать. Я был уверен, что этот эпизод вырежут, что поймут его пародийность. Нет, он вызвал полное удовольствие советского начальства и так он и остался в фильме…

Хроника культурной жизни
Спор о кинокартине «Синяя птица»

26 июня 76

…Первый секретарь правления Союза писателей СССР Марков утверждает: «Только в нашей стране, в социалистических странах под понятие свободы печати и таланта подведена не мнимая, а подлинная база, прочная материальная основа, подлинная заинтересованность общества, его поддержка».

… Да, подлинная свобода для Маркова и иже с ним. А вот сочинений Гумилева нету — они запрещены, поздний Волошин — запрещен, Клюев — запрещен, большинство произведений Платонова запрещены, «Реквием» Ахматовой запрещен, «Доктор Живаго» Пастернака запрещен. Книги Солженицына, Максимова, Некрасова, Синявского, Эткинда, поэзия Бродского, Коржавина, Горбаневской, Галанскова — запрещены; заставили замолчать, задушили таких писателей, как Казаков, Домбровский — запрещены, не пишут, не могут сказать ничего…

… Когда-то мы играли в такую игру. Кто-нибудь восклицал «порыв», и все хором кричали «единый», «одобрение» — все хором «горячее»… И жаль, что нет еще одного литературного героя среди участников этого съезда — Павла Ивановича Чичикова — то-то уж ему было бы раздолье, то-то уж он накупил бы мертвых душ…

Радиожурнал «По Советскому Союзу»
О 6-ом съезде советских писателей

4 июля 76

…С днем рождения, Америка! Удивительная, огромная, могучая страна! Тебе исполняется двести лет. Пожалуй, нет в новейшей истории документов, которые бы имели в жизни всего человечества такое огромное значение, как документы, которые появились именно в этой стране. Я имею в виду Билль о Правах Человека и Декларацию Независимости. И, может быть, одним из самых незначительных следствий этих замечательных документов является то, что сегодня я имею возможность по радио, из-за рубежа, разговаривать с вами, мои дорогие соотечественники!..

Америка… Самая молодая страна среди могучих держав. Мальчишка среди взрослых! Мальчишка, который учит иногда

взрослых уму-разуму. Мальчишка, который очень любит, как все мальчишки, слово «самое». Помните, в первой драке Тома Сойера он говорит своему противнику: «У меня есть брат, он *самый* сильный». Америка очень любит это слово… И вот в этом *самом* живет тоже прекраснейшее детство с его наивным и озорным хвастовством…

Моя Америка
К 200-летию Соединенных Штатов Америки

16 октября 76

Ведь он пришел к нам в детстве. Помните, когда мы впервые прочли сказку «О царе Салтане», не знаю, как вас, а меня, еще мальчика маленького, вдруг ударило в самое сердце, когда я услышал такие слова: «Ты волна моя, волна, ты гульлива и вольна». Черт возьми!.. Лев Толстой сказал когда-то: «Нравственность человека определяется его отношением к слову». Да вы подумайте, какой же нравственностью мог обладать человек, написавший слова постановления Центрального комитета партии «О мерах по дальнейшему улучшению руководства развитием советского кинематографа»…

… Я поэт, я не могут не любить языка, который является не только моим орудием, но и оружием, язык — это удивительное средство выразительности. И не дать превратить его в орудие насилия — это наша с вами задача, противопоставить этому официальному, собачьему, чудовищному языку, лишенному мысли и эмоций… живой родник русской народной речи…

У микрофона Галич…
О русском языке

30 октября 76

… Мы здесь часто попадаем впросак и мы часто думаем, что понимаем эту жизнь, а мы все еще не научились ее понимать. И поэтому — и это, пожалуй, самое горькое — иногда мы друзей принимаем за врагов, а врагов принимаем за друзей, потому что *там* мы по улыбке, по взгляду, по одной интонации голоса могли понять — этот с нами или нет. А здесь мы еще этого не умеем, здесь это бывает порото довольно трудно…

Бились стрелки часов на слепой стене,
Рвался — к сумеркам — белый свет,
Но, как в старой песне:
Спина к спине
Мы стояли — и ваших нет.
Но, как в старой песне: спина к спине

Мы стояли — и ваших нет!
.....
Ну, а здесь,
Среди пламенной этой тьмы,
Где и тени живут в тени,
Мы порою теряемся:
Где же мы?
И с какой стороны — они?..

У *микрофона Галич…*
«Спина к спине»

16 декабря 76

… Когда-то Станиславский говорил о том, что существуют актеры двух направлений, актеры представления и актеры переживания…

… Я уверен, что в каждом человеке, даже в самом сухом, где-то живет мечта — кроме своей жизни прожить еще какими-то жизнями. Иногда даже хочется быть, уже в наши дни, что совсем смешно, пиратом, президентом, изобретателем. И вот всеми этими жизнями прожил Габен, кроме своей удивительной, прекрасной, героической жизни, потому что, когда вы смотрите фильмы с его участием, вы всегда дивитесь — да ведь это же Габен! Ну конечно, Габен. Он не очень стремится изменить свою внешность, ну, разве что покрасит волосы или причешется как-нибудь по-другому, разве что наклеит усы, но он всегда Габен, и вы всегда верите 66 ему, что вот этот человек — президент, это — дезертир из колониальных войск, это — старый, немножко спившийся доктор. И всегда во всех творениях Габена присутствует главная тема, главная тема его искусства, даже в таких ролях, когда он играет персонажей из преступного мира, все равно присутствует эта тема, тема человеческого достоинства и сострадания…

У микрофона Галич…
Памяти Жана Габена

11 января 77

… Мне довелось посмотреть… картину о том, как Петр I арапа женил. Картину эту делали очень талантливые люди — режиссер Александр Митта, сценаристы Фрид и Дунский. По идее картина вроде бы на сюжет Пушкина… но это картина по Алексею Толстому… И вся беда в том, что Алексей Толстой, человек необыкновенно талантливый, когда работал над романом «Петр

I», прибегнул к откровенной литературной игре и стилизации. И этот фильм, который как бы повторяет… «Петра I»… — стилизация стилизации. Это уже довольно трагично. И все ощущение от советского кинематографа, представленного на этом фестивале… что талантливые художники задыхаются, потому что им не дают говорить ничего из того, что действительно волнует людей. Поэтому единственный выход, который для себя ищут, — это выход в картинках…

Культура, события, люди
Советское кино сегодня

13 января 77

… Я думаю, что и у ленинградцев, и у москвичей, да и у всех приезжающих существуют какие-то свои особые отношения с Ленинградом, Петроградом, Петербургом… В Ленинграде хранятся следы, хранится память. Вот здесь несли Пушкина, смертельно раненного, здесь прозвучал этот выстрел на Черной речке, здесь, вот здесь ходил Достоевский. Это было здесь, и кажется, что прислушившись внимательно, ты услышишь эхо их шагов, звуки их голосов. Ты пойдешь по Загородному проспекту к Пяти углам, и навстречу выйдет Александр Александрович Блок. Он идет домой, он думает. Он идет домой через весь город в белые петербургские ночи. Удивителен этот город…

Песни с комментариями
Новогодняя фантасмагория

25 января 77

…Навидался я, что это такое бесплатная медицинская помощь. Сохранил самые светлые, восторженные воспоминания о людях, которые работают в этих больницах, в чудовищных условиях, не имея, по существу, ничего из современного медицинского оборудования, работают почти что так, как работали старые земские врачи, умея. делать все, проводя не только положенные рабочие часы рядом с больными, но и ночи, и свободные дни… В Боткинской больнице в Москве, в таком сложном отделении, как отделение гнойной хирургии, ночью сестру практически дозваться невозможно, потому что она не может разорваться на такое количество больных, которые остаются у нее на руках.

И множество моих песен тем или иным образом обязаны моему пребыванию в этих больницах, потому что я наслушался там рассказов самых удивительных, навидался самых удивительных, самых необыкновенных людей с самыми необыкновенными и удивительными судьбами.

Песни с комментариями
«Больничная цыганочка»

1 февраля 77

… В конце сороковых годов, в квартире, где я жил у моих родных, стал появляться довольно молодой человек, милый, веселый, приветливый… Молодой человек, когда я входил, вскакивал и проявлял чрезмерную, преувеличенную учтивость и почтение, хотя по возрасту он был не так уж много моложе меня, но все-таки моложе, а в ту пору эта разница казалась совсем значительной, тем более, что молодой человек был учеником театральной школы, а я в ту пору был уже известным драматургом…

… Потом этот молодой человек исчез. Я как-то спросил у своих родных, где он… Они сказали… он бросил театральную школу, поступил в университет, говорят, женился, остепенился. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко, залетела… в самое поднебесье. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева и стал, как острили, «принцем-комсоргом» по аналогии с известным выражением «принц-консорт». Звали, этого молодого человека Алексей Аджубей.

Многие из вас помнят, конечно, этот стремительный взлет никому не известного молодого человека, который… в последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был. главным редактором «Известий», был председателем Иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов и, вероятно, имел еще множество всяких должностей. Он стал известен не только в Советском Союзе, но и во всем мире, он встречался с покойным ныне президентом Кеннеди, с… Папой Иоанном XXIII, и вообще это была фигура яркая, выдающаяся и чрезвычайно занимательная.

… Звезда его с падением Хрущева закатилась… Но еще в пору его величия я написал песню, которую никак не связывал с ним. «Тонечка» — простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино»… И когда на одном из моих домашних концертов первый раз люди попросили меня: «Спойте «Аджубеечку», — я сказал: «Помилуй Бог, я вроде такой песни не писал». «Ну как же, это ваша песня… вы уж с нами не спорьте, это уже стало таким широко распространенным названием этой песни».

Она вещи собрала, сказала тоненько:

«А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней,
с Тонькою!
Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у папы у ее топтун под окнами.
А что у папы у ее дача в Павшине,
А что у папы холуи с секретаршами.
А что у папы у ее пайки цековские
И по праздникам кино с Целиковскою»…

Песни с комментариями
«Городской романс» («Тонечка»)

3 февраля 77

… Катаев был создателем — основателем журнала «Юность», журнала, в котором родилась, расцвела — и несомненно, влияние на этот расцвет оказал Валентин Петрович Катаев — новая русская проза, проза Аксенова, Гладилина и других молодых писателей, которые сегодня уже стали известными, вполне настоящими серьезными крупными литературными фигурами.

И я думаю, что второе рождение Катаева каким-то образом связано именно с этими молодыми: уча их, вытаскивая из них то, что они могут сделать, он как бы заставил самого себя… «перевоплотиться в самого себя»…

Культурная программа
К 80-летию Валентина Катаева

7 февраля 77

… Сорок лет тому назад весь мир готовился отмечать столетие со дня трагической гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина… Тогда же родился такой забавный анекдот. Комиссия заказала к этому памятному дню архитекторам, скульпторам памятник… Пушкину. Был представлен проект… Пушкин в опущенной руке держал книгу своих сочинений. Комиссия сказала, что в общем это неплохо, но как-то нету прямой связи с современностью. Хотелось бы как-нибудь осовременить памятник. «Ну, вот, предположим, — сказал один из членов комиссии, — стоит Александр Сергеевич Пушкин и держит в руках «Вопросы ленинизма», книгу Сталина. Это уже, понимаете, связь прошлого с настоящим». Комиссия сказала: «… Это не очень убедительно и немножко фантастично. А может быть, сделать так: стоит Сталин, Иосиф Виссарионович и держит в руках том Пушкина». Подумали. Сказали: «Да, это неплохо, но в этом есть что-то неестественное. А что если сделать так: стоит

Иосиф Виссарионович Сталин и держит в руках книгу «Вопросы ленинизма»…

… Это анекдот. Прошло сорок лет. И вот в «Литературной газете» от 19 января 1977 года на первой странице помещена статья под заглавием «День памяти великого русского писателя». Речь идет о Льве Николаевиче Толстом. И приложена к этой статье фотография Леонида Ильича Брежнева, делающего запись в книге писателей Дома-музея Толстого в Ясной поляне…

Культура, события, люди

Об одной фотографии в «Литературной газете»

12 февраля 77

… Мне довелось познакомиться с Александром Николаевичем Вертинским. Мы даже жили с ним рядом, в соседних номерах в гостинице «Европейская» в Ленинграде… По вечерам, после концерта, он входил со своим стаканом чая, он неизменно носил стакан чая с лимоном, садился и говорил мне: «Ну, давайте. Читайте стихи». Я читал ему Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого, Сельвинского, Ахматову, Хармса. Читал совсем ему не известных даже по именам Бориса Корнилова и Павла Васильева, читал все то, что он, долгие годы оторванный от родной земли, от России, не мог знать.

Он был поразительным слушателем, он был не только исполнителем, не только замечательным мастером. Сам актер, певец, поэт, он умел слушать, особенно он умел слушать стихи. И вкус у него на стихи был безошибочный. Он мог сфальшивить сам, мог иногда поставить неудачную строчку, мог иногда неудачно… изменить строчку поэта, на стихи которого он писал свою музыку, но чувствовал он стихи безошибочно. И когда я прочел ему в первый раз стихотворение Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», он заплакал, а потом сказал мне: «Запишите мне».

Песни с комментариями

«Памяти Александра Вертинского»

19 февраля 77

… Я хочу рассказать вам о том, как была сочинена и почему… песня с таким длинным названием «Баллада о том, как одна принцесса раз в месяц в день получки приходила поужинать в ресторан Динамо»… После войны родилась в народе частушка, некоторые, вероятно, ее помнят: «Вот окончилась война, и осталась я одна. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Вот это женское одиночество, которое стало судьбою целого поколения, а может быть, даже не одного, а нескольких поколений советских

женщин, о нем говорили, о нем пытались писать, но пытались писать очень осторожно, очень аккуратно, так, чтобы не затронуть тех, кто диктует политику, тех, кто заказывает музыку…

… Женщинам одним в ресторан было входить запрещено. Им было запрещено одним ужинать, без сопровождения мужчин. Почему-то заранее руководители Нарпита подозревали этих женщин в каких-то дурных намерениях, и это в стране, где так много и часто говорят о женском равноправии, о том, что женщине открыты все пути, все дороги… Да, все дороги открыты — в тяжелый, непосильный, изнурительный труд, но вот в ресторан, оказывается, ей дорога закрыта, одна она войти туда не может…

Кивал с эстрады ей трубач,
Сипел трубой, как в насморке,
Он и прозвал ее, трепач,
Принцессой с Нижней Масловки.
.....
И села, и прочла меню,
И выбрала бефстроганов.

И все бухие пролетарии,
Все тунеядцы и жулье,
Как на комету в планетарии,
Глядели, суки, на нее.

Песни с комментариями
«Баллада об одной принцессе…»

16 апреля 77

… Человечество вообще не может жить без надежды. Вселяет надежду, что люди поймут и оценят тот горестный опыт, который упал на наши с вами плечи, и сделают из этого опыта выводы.

Песни с комментариями
«Баллада о прибавочной стоимости»

23 апреля 77

… Дело это было в Ялте… Я жил тогда в доме творчества писателей на горе. Днем мы спускались с друзьями на пляж… Несколько лавочек, в которых в основном торгуют изделиями из ракушек и открыток с видами Крыма, и художественный салон… Салон, прямо скажем, особенными шедеврами не блещет:… это плохие копии васнецовской «Аленушки» и его же «Трех богатырей» и портреты выдающихся деятелей советского

государства…

Жаркий, очень жаркий солнечный день, мы… у витрины этого художественного салона. Центральное место занимает портрет Никиты Сергеевича Хрущева. Яркие лучи солнца падают на этот портрет, и мы видим почти с мистическим ужасом, что портрет вспотел —… крупные капли пота покрывают лицо Хрущева… Но это бы еще ничего, но… мы заметили, что на лице проступают черные усы.

Мы зашли внутрь, спросили, где директор, нам показали на какую-то комнату, мы зашли — сидел маленький человечек, вдребезги пьяный. Мы сказали: «Слушайте, если вы не хотите, чтобы у вас были крупные неприятности, мы вам советуем немедленно снять портрет Хрущева».

Он посмотрел на нас довольно мутными глазами и сказал: «А что, уже?». Мы сказали: «Нет, нет, еще не «уже», но вот Вы пойдите и взгляните, что происходит с этим портретом, вы поймете, что его нужно немедленно снять». Он вышел вместе с нами на улицу… схватился за голову: «Я ж им говорил — Хрущева на Маленкове!». Потом он… снял собственноручно портрет и долго пожимал нам руки…

Мы, заинтересованные фразой «Хрущева на Маленкове», спросили, в чем дело. «… Это у нас артель художников тут работает… трафаретчики, конечно… А у нас много скопилось, знаете, Сталиных, Кагановичей… не пропадать же холстам. Я им говорю — не надо Хрущева на Сталине или Кагановиче, они с усами… которые — тех давайте на Буденного переделывайте…»

Песни с комментариями

«После вечеринки»

28 апреля 77

… Помните, когда-то…когда мы учились в школе, мы все непременно писали сочинения на тему «Образ русской женщины в литературе»…Мы вспоминали Татьяну, Волконскую, Трубецкую, Неточку Незванову и Соню Мармеладову…

Мы много что вспоминали, и могли ли знать тогда, в детстве, какая судьба, горестная, трудная, страшная, выпадет на долю русских женщин, советских женщин в тот период, который называется периодом построения социализма и коммунизма в стране «Советский Союз».

Песни с комментариями

«Как мне странно, что ты жена»

10 июня 77

… Мы живем с вами в таком странном и удивительном мире,

где уже сегодня всякие политические партии, общественные течения настолько спутались и смешались, что порою лидеры этих партий, лидеры этих общественных, политических течений сами уже не очень понимают, что они значат… А права человека — это нечто совершенно конкретное, это можно каждый раз ткнуть пальцем и закричать: «Здесь, в этой точке земного шара, нарушаются права человека, здесь плачут женщины и дети, здесь несправедливо преследуются люди за свои убеждения, за право говорить то, что они думают, за право выступать против несправедливости и лжи…

У микрофона Галич…

Права человека

13 июня 77

… Начинать свою итальянскую поездку я должен был с Флоренции, куда меня пригласили выступить на конгрессе, посвященном свободе творчества… Встретил нас устроитель с современным испугом на лице: «Знаете что, господин… синьор Галич, хорошо, вы скажите речь, только, пожалуйста, покороче, но песен не надо петь: мы боимся… Могут произойти беспорядки, они могут ворваться в зал, они грозились выбить стекла, подложить бомбы и так далее, так что, знаете, пожалуйста, постарайтесь очень коротко выступить и не пойте ничего».

… Я сказал, что меня просили не петь и что я понимаю эту просьбу. Вероятно, она вызвана тем, что я все-таки нахожусь в Италии, в стране, знаменитой своей музыкой и своими певцами, и что здесь мое пение может показаться просто оскорбительным; поэтому я петь не буду, а просто прочту, вернее, прочтет Марья Васильевна Олсуфьева по-итальянски текст моей песни «Молчание — золото» («Старательский вальсок»)…

Промолчи — попадешь в богачи.
Промолчи, промолчи, промолчи!

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за…
.....
И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята;
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота…

У микрофона Галич…
Рассказ о поездке в Италию

20 июня 77

… Замолчанный, полунищий, Волошин умер в Крыму, в Коктебеле, сорок пять лет тому назад, в августе тридцать второго года. Его не печатали, не издавали, его замучили всевозможными бюрократическими справками, хотели отнимать его дом, хотели его выселять; и почти совсем незадолго перед своей смертью он написал такие вещие строчки:

Мои ж уста давно закрыты. Пусть.
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

Эти стихи Волошина, давно уже списанные украдкой, ходят по русской земле.

У микрофона Галич…
К столетию со дня рождения поэта Максимилиана Волошина

23 июня 77

… Я неизменно вспоминаю своего покойного друга, замечательную женщину, Фриду Вигдорову, человека мужественного, благороднейшего, человека такой необыкновенной строгой доброты… который был готов броситься в бой с любой несправедливостью. Она узнавала о том, что где-то в Сибири обижают кого-то… она, маленькая седая женщина тут же отправлялась в путь за десятки, за сотни, за тысячи километров… Я вспоминаю о ней потому, что когда я написал свои первые песни, она… пришла ко мне и сказала: «Знаете, Саша, я хочу с вами поговорить… Что вы начали делать сейчас — вам кажется, что это вы так просто сочинили несколько забавных песен, а мы подумали, и нам показалось, что вот это то, чем вы должны заниматься. Это то, что вы должны делать…»

У микрофона Галич…

27 июня 77

… Есть люди, с которыми можно идти в разведку, но нельзя ходить на профсоюзное собрание. К сожалению, это так. Но были и другие, были действительно люди героической жизни, вроде генерала Петра Григорьевича Григоренко, человека, проявившего мужество ' и в военное время, и в гражданской жизни. И самое смешное, самое грустное и самое отвратительное, что их — этих

людей — топтали, осуждали, «разоблачали» те, которые всю войну отсиживались на разных теплых местах, дезертиры вроде Кочетова и Аркадия Васильева, которые исключали фронтовиков из Союза, из партии…

У микрофона Галич…
22 июня

5 июля 1977 г.

… Салон только открылся, но уже в первый день не протолкаться в выставочных залах. Приехали, пришли со всех концов Парижа любители живописи, художники, искусствоведы, критики, писатели. И с гордостью должен сказать, что работы наших соотечественников вызывают особенный интерес: я видел горячие споры возле картин Шемякина, Зеленина, Целкова… Выставка эта, салон, двадцать пятый юбилейный салон священного искусства, выражение духовной жизни, прекрасное начало, прекрасная стартовая площадка для нашей новой, молодой художественной группы людей, живущих и в Советском Союзе, и на Западе…

У микрофона Галич…
25-ый юбилейный салон в музее
Люксембургского дворца

14 июля 77

… Я был приглашен в Пистою. Это небольшой промышленный город недалеко от Пизы, и в этом городе христианско-демократическая партия устраивала «вечер дружбы»… Незадолго до моего выезда из Парижа, мне позвонила моя переводчица: «Александр Галич, я знаю, что вы уже, наверное, собираетесь на поезд, но вот что у нас произошло. Дело в том, что сегодня утром в Пистое было совершено покушение на Джан-Карло Николая, представителя христианско-демократической партии, который, собственно, и организовал этот вечер дружбы и пригласил вас в нем выступать, и был звонок в полицию — некая группа, которая назвала себя «коммунистами первой лиги», сообщила, что покушение совершено ими и что если вы приедете, они, возможно, будут продолжать свои террористические действия». Я спросил: «А… вечер дружбы… он все-таки состоится?». «Да, вечер состоится»…

… Первое мое выступление в этот вечер было в маленьком городке Пеши… Во время выступления в Пеши я заметил, что мои друзья и сопровождающие меня лица несколько озабочены, перешептываются. Я спросил: «В чем дело?». Они сказали: «Да вот в Пистое, где следующее выступление, там все-таки бросили

сейчас три бомбы — нам сообщили»…

У микрофона Галич…

Рассказ о поездке в Италию

19 июля 77

… В нашей борьбе за человеческие права мы должны думать еще и о борьбе за сохранение всего того прекрасного, что создано человечеством, потому что именно с этого (вандализма) начинается насилие и унижение человеческих прав. Сначала разрушаются, сначала оскверняются творения рук человеческих, а затем уже начинают уничтожать самого человека…

… С защиты духовных ценностей и начинается, по существу, борьба за права человека, потому что это наше достояние, это наша человеческая гордость, это создано руками, гением, духом человека…

У микрофона Галич…

25 июля 77

… «Если вы бедны, если у вас нет свободы, нет счастья, если ваш дух сломлен — что тогда?» — сказал комментатор советского радио, представляя песню Джонни Кеша «Сан-Квентин». «Сан-Квентин» — это название тюрьмы… Джонни Кеш выступал перед заключенными со своим концертом… Вот такое сообщение…

… И Джонни Кеш, и Джоун Бэйэз, и Джуди Коллинз… и такие замечательные певцы протеста, народные певцы Америки, как Боб Дилан, Пит Сигер… живут, как полагается жить артистам. Они выступают по всей стране, они издают миллионными тиражами пластинки с записями своих песен, выходят сборники их сочинений… Они пользуются любовью, славой и уважением своего народа. Представим себе, что, скажем, Булат Окуджава или Владимир Высоцкий выступают во Владимирской тюрьме перед заключенными и поют им свои песни… Даже просто… становится смешно от одного такого предположения…

У микрофона Галич…

О песнях протеста

2 августа 77

… В Париже, в Гранд Пале проходит сейчас юбилейная выставка советской живописи, которая называется «Советская живопись за 60 лет»… В парижских газетах появились довольно кислые рецензии об этой выставке. Но вот в галерее Люксембургского дворца, в оранжерее открылась выставка под названием «Искусство и материя», в которой представлены тридцать два современных советских художника. Одни находятся

за рубежом, другие продолжают жить и работать в Советском Союзе, и, пожалуй, со времени осеннего салона в Пале де Конгре не было еще такой представительной, такой, я бы сказал, богатой и щедрой экспозиции работ современных русских советских художников, тридцати двух художников… Со времени выставки-салона в Пале де Конгре не было еще такого количества зрителей, критиков, как на экспозиции русских советских художников…

Корреспонденция из Парижа
Две выставки

8 августа 77

… Я был приглашен в Авиньон принять участие в работе театральной группы, которой руководит известный французский режиссер кино и театра и драматург Арман Гати… Но я был с ним незнаком, разговоры я вел с его женой, актрисой и режиссером Элен Шатле… Они меня просили рассказать об открытых репетициях Всеволода Эмильевича Мейерхольда: он в тридцать шестом году, незадолго перед закрытием своего театра проводил такие открытые репетиции для театральной молодежи Москвы. Я помню, как мы все бегали на эти репетиции. И вот я вспомнил о том, как Мейерхольд репетировал кусок из своей старой постановки «Леса»… Когда я рассказывал, Элен Шатле немножко загадочно улыбалась. Я спросил ее: «Почему вы так улыбались, Элен? Вы знаете эту постановку?». Она говорит: «Постановки я не знаю, но пьесу я знаю. Дело в том, что Александр Николаевич Островский — мой прадедушка…»

У микрофона Галич…
Театральный фестиваль в Авиньоне

11 августа 77

… Четыре молодых актера, три юноши и одна девушка, читают стихи Маяковского. Вся изобразительная, вся зрелищная часть этого спектакля сосредоточена на стоящем чуть в стороне огромном ящике… на котором движется этакая лента времени, на экране даются обозначения событий эпохи, начиная от Русско-японской войны и кончая коллективизацией… Читаются стихи Маяковского, и потом в конце где-то за сценой раздается выстрел, идут несколько отрывков из газетных сообщений о смерти Маяковского…

Тема этого спектакля — взаимоотношение искусства с партией, с правительством — сейчас необыкновенно актуальна для Франции… и не пора ли задуматься художникам, работникам искусств, как у нас называется, над этим вопросом… Именно в этом смысле заинтересовала их судьба Маяковского, именно

поэтому они назвали свой спектакль «Маяковский, убитый поэт».

У микрофона Галич…

Театральный фестиваль в Авиньоне

9 сентября 77

… После того, как я покинул Советский Союз, мне довелось жить уже в трех странах — в Норвегии, в Германии, и теперь я живу во Франции. И должен сказать, что медицинское обслуживание, по-настоящему бесплатная медицинская помощь, здесь на такой высоте, что советскому человеку об этом даже мечтать не приходится… Бесплатны и лекарства, ибо лекарства, выписанные врачом, вы получите в аптеке бесплатно…

Вы знаете, дорогие мои друзья, мне очень грустно говорить вам об этом, потому что я сам, как и вы, до приезда сюда думал, уж что-что, а в медицинском обслуживании с бесплатной медицинской помощью, мы оставили далеко позади весь мир. Но оказалось, что это тоже ложь, это тоже одна из уловок, одна из хитростей советской пропаганды…

У микрофона Галич…

О бесплатном медицинском обслуживании

12 сентября 77

… Я возвращался из Италии во Францию… Я сел в поезд, был я довольно усталым, отдал паспорт проводнику, попросил, чтобы утром он мне принес кофе, немножко почитал, погасил свет этак часов в пол-одиннадцатого и решил спать. Часа через полтора в мою дверь раздался стук. Спросонья я ничего не понял… увидел человека в форме… Я открыл дверь, человек мне поклонился, и я увидел, что это пограничник, итальянский пограничник… Пограничник долго рассыпался в извинениях, что он не знал, что я уже лег спать… потом сказал мне следующее: «Скажите, пожалуйста, вы тот Галич? Я видел вас по телевидению и читал о вас статью в журнале, «Дженет»… Там была статья о моих выступлениях с цветными фотографиями. Я сказал: «Да, я тот самый Галич». Тогда он мне объяснил, что в этом пограничном городе, название которого я так и не запомнил, он является одним из организаторов фестиваля по музыке, который состоится в следующем месяце, и что им было бы очень приятно, если бы я смог приехать и принять участие в этом фестивале…

У микрофона Галич…

ЧП на границе

27 сентября 77

… Вот повесили на площадке над морем плакаты и лозунги,

центральное место занимал лозунг «Свободу Чили!». Жителям… чрезвычайно важно было бороться за свободу Чили. Кстати, я спросил одного из руководителей: «А почему именно свободу Чили? Разве в Чили сейчас самый жестокий диктаторский режим? Почему, скажем, не свободу народам Уганды? Кстати, Уганда ближе географически… — только пролив, и уже Африка начинается, почему не свободу Камбодже?»

У микрофона Галич…

Рассказ о поездке по Италии

7 октября 77

… Советская печать чрезвычайно широко сообщает о мнении некоего австрийского профессора Харриса… Он побывал в Советском Союзе по приглашению Министерства здравоохранения, его водили по лечебным учреждениям… познакомили с личными делами или, выражаясь медицинским языком, анамнезами бывших больных, правда, сам лично с этими больными профессор Харрис не встречался. Ему сказали, что они давно уже выпущены, так как здоровье их теперь в порядке… Он восхищен тем, что он увидел, в каких удивительно прекрасных условиях находятся психически больные люди, какой там сервис, какое обслуживание, какой уход, внимание и забота проявляются советской медициной к этим больным.

И все это, дорогие мои друзья, напомнило мне один разговор, который я когда-то слышал в очереди… за хлебом… Какие-то две женщины, стоявшие впереди меня, разговаривали, и одна говорила другой: «Знаешь, мы вчерась, в воскресенье, в Белые Столбы ехали, в психбольницу на психов поглядеть, ой, умора, знаешь, они гуляют и каждый делает, чего хочет. Один на карачках ползает, другой плюется, третий песни поет, весело! Во жизнь!»

У микрофона Галич…

14 октября 77

… Сейчас во Франции в партиях так называемого левого блока идут большие споры по поводу национализации: социалисты, предполагая придти к власти, собираются национализировать какую-то определенную часть промышленных предприятий; коммунисты составили значительно больший список предприятий, подлежащих национализации. И надо сказать, что большинство французов, во всяком случае те, с которыми мне довелось говорить, придерживаются позиции социалистов в этом вопросе. Хотелось бы мне спросить их, что бы они сказали по поводу страны, где национализировано все.

Национализированы не только предприятия, не только все отрасли от промышленности до культуры, национализированы мысли, национализированы чувства — сострадание, милосердие; горе не разрешается выражать в частном порядке, только по указанию свыше. Указали вам свыше — благодетельствуйте, указали — сострадайте, горюйте, а сами — ни-ни, нельзя…

У микрофона Галич…

Годовщина Бабьего Яра

17 октября 77

… Я приехал в Сан-Марино под вечер, меня привезли в гостиницу…

В самой республике нет ни газет, ни телевидения, никаких… средств массовой информации. Но санмарин-цы по этому поводу тоже острят: «Мы очень маленький народ, нас всего около двадцати тысяч, мы все в родстве, и если что-нибудь случается, то об этом немедленно становится известно всем. Зачем же нам нужны газеты?»

У микрофона Галич…

Рассказ о поездке в Сан-Марино

14 ноября 77

… Было принято письмо президенту Картеру, которое поддерживало его усилия в борьбе за права человека.

Мы рассматривали эту борьбу, как знамение времени, как, пожалуй, сегодня главную возможность противостоять насилию и лжи…

Культура и политика

Международная конференция «Континента»

18 ноября 77

… «Хотите познакомиться с одним из величайших скульпторов мира?». Я спросил: «Кто такой?». Они сказали: «Мы вас завтра отвезем, это Иткинд». Я сказал: «Иткинд? Величайший скульптор мира? В жизни не слышал такого имени». «Да-да. Вы не слышали этого имени, но вот даже Коненков, крупный мастер и человек, который не очень любит хвалить других, сказал, когда произнесли это имя — Иткинд: «Разве он жив? Это же, пожалуй, самый гениальный из всех наших молодых скульпторов, неужели он жив?». Иткинд в ту пору — это было лет десять назад — был жив. Вместе с Марком Шагалом он когда-то приехал учиться в Париж из Белоруссии, вместе с Шагалом вернулся на время в Россию, Шагал снова уехал во Францию… Иткинд остался в России, где его и арестовали как не то французского, не то

английского, не то японского шпиона. В пятьдесят шестом году, когда уже очень старый, изломанный, избитый, искалеченный человек вышел ца волю, ехать ему было некуда, заниматься ему было нечем, и на алмаатинском базаре он продавал спички, которые он сам делал…

У микрофона Галич… О судьбе двух художников

5 декабря 77

… Я читаю «Литературную газету». Очень занимательная газета. Как говорится, есть над чем посмеяться.

… Мы уже об этом рассказывали, недавно по телевидению выступал редактор этой газеты, Александр Борисович Чаковский и очень потряс французских телезрителей. Ну, то, что он говорит неправду, это поняли все, разумеется. Но одна моя знакомая парижанка спросила меня: «Скажите, почему он все время улыбался, ему наверно было стыдно, да?». И мне очень трудно было убедить ее в том, что Чаковскому — главному редактору «Литературной газеты», депутату Верховного Совета не может быть стыдно, потому что ему не может быть стыдно, как говорится, никогда…

Новая серия

Галич в Париже читает советские газеты

9 декабря 77

… Мне очень жалко, что этот театр был вынужден привезти в Париж вовсе не те спектакли, которые создали ему заслуженную славу среди советских зрителей. Вынужден он был привезти не «Мастера и Маргариту» Булгакова, не «Обмен» Трифонова, не пьесу Абрамова, не даже горестный спектакль о войне «А зори здесь тихие»… Вынужден он привезти спектакли «Мать», «Десять дней, которые потрясли мир», спектакль о Маяковском…

Унылый чиновник заставил театр на Таганке привезти в Париж спектакли, чуждые парижской публике, не понятные парижской публике, да собственно, уже давно и советскому зрителю чуждые и не понятные… Газета, ну что ж, газета свое дело знает… Они ведь все у нас на одно лицо.

Ах, до чего фантазирует эта газета буйно,
ах, до чего же охотно
на все напускает дым,
и если на клетке слона
вы увидите надпись «Буйвол»,
не верьте, друзья, пожалуйста,
не верьте, друзья, пожалуйста,

не верьте, очень прошу вас,
не верьте глазам своим.

Галич в Париже читает советские газеты

А их увозили — пока — корабли,
А их волокли поезда…
И даже придумать они не могли,
Что это «пока» навсегда,
И даже представить себе не могли,
Что в майскую ночь наугад
Они, прогулявшись по рю Риволи,
Потом не свернут на Арбат…

III
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!..»
Выступления по радио

«Караганда или песня про генеральскую дочь»

Здравствуйте, дорогие мои друзья! У меня возникла такая нехитрая мысль: спеть вам несколько старых песен; вернее, это будет цикл передач — старые песни, но с рассказом о том, как они возникли, как бы с авторскими комментариями к истории написания этих песен. Вот сегодня мы и устроим такую первую передачу, о первой песне с историей ее возникновения.

В начале шестидесятых годов я неожиданно совершенно для самого себя был включен в группу писателей, кинодеятелей, музыкантов из Москвы, отправляющихся на декаду, так называемую «русскую декаду искусства и литературы в Казахской ССР». Мы приехали в Алма-Ату, где нас встречали девушки с цветами и со знаменитыми алмаатинскими яблоками, председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, и потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики.

И вот я попал в город Караганду и в этом городе Караганде встретил очень странных людей. Это были люди, которые в пятьдесят пятом, пятьдесят шестом годах вышли из лагерей, и многим из них уже некуда было ехать, не было близких, не было родных у них на земле, и они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины, причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками и провели там большую часть своей жизни. Две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки… была такая мода в тридцатые годы, когда военспецы женились, и вообще всякие ответственные работники женились на иностранках, так что многие из них были полукровками. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда, но когда мы с ними знакомились, они спрашивали: «А вы откуда, из России?». Мы говорили: «А вы-то

где?». «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?». «Нет, — говорили, — не хотим, чего нам там делать? Кого мы там не видали?»

Вот так возникла песня, которая называется «Караганда или песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь, такова жизнь.

Итак, «Караганда или песня про генеральскую дочь».

Постелилась я, и в печь уголек…
Накрошила огурцов и мясца,
А он явился, ноги вынул и лег —
У мадам у его — месяца.

А он и рад тому, сучок, он и рад,
Скушал водочки и в сон наповал!..
А там — в России — где-то есть Ленинград,
А в Ленинграде том — Обводный канал.

А тама мамынька жила с папонькой,
Называли меня «лапонькой».
Не считали меня лишнею,
Да им дали обоим высшую!
Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты угольком даешь на-гора года!
Дала двадцать лет, дала тридцать лет,
А что с чужим живу, так своего-то нет!
Кара-ган-да…

А он, сучок, из гулевых шоферов,
Он барыга, и калымщик, и жмот,
Он на торговской дает, будь здоров,—
Где за рупь, а где какую прижмет!

Подвозил он меня раз в «Гастроном»,
Даже слова не сказал, как полез,
Я бы в крик, да на стекле ветровом
Он картиночку приклеил, подлец!

А на картиночке — площадь с садиком,
А перед ней камень о «Медным всадником»,
А тридцать лет назад я с мамой в том саду…
Ой, не хочу про то, а то я выть пойду!
Ой, Караганда ты, Караганда!

Ты мать и мачеха, для кого когда,
А для меня так завсегда нежна,
Что я самой себе стала не нужна!
Кара-ган-да!

Он проснулся, закурил «Беломор»,
Взял пинжак, где у него кошелек,
И прошлепал босиком в колидор,
А вернулся — обратно залег.

Он сопит, а я сижу у огня,
Режу меленько на водку лучок,
А ведь все-тки он жалеет меня,
Все-тки ходит, все-тки дышит, сучок!

А и спи, проспись ты, мое золотце,
А слезы — что ж, от слез хлеб не солится,
А что мадам его крутит мордою,
Так мне плевать на то, я не гордая…
Ой, Караганда ты, Караганда,

Если тут горда, так и на кой годна!
Хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь,
А что в России есть, так то не хуже здесь!
Кара-ган-да!

Что-то сон нейдет, был, да вышел весь,
А завтра делать дел — прорву адскую!
Завтра с базы нам сельдь должны завезть,
Говорили, что ленинградскую.

Я себе возьму и кой-кому раздам,
Надо ж к празднику подзаправиться!
А пяток сельдей я пошлю мадам,
Пусть покушает, позабавится!

Пусть покушает она, дура жалкая,
Пусть не думает она, что я жадная,
Это, знать, с лучка глазам колется,
Голова на низ чтой-то клонится…
Ой, Караганда ты, Караганда,

Ты угольком даешь на-гора года,
А на картиночке — площадь с садиком,

А перед ней камень…
Ка-ра-ган-да!..

У микрофона Галич…
5 октября 74

Песня «Ошибка»

Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые сограждане. Сегодня я хочу продолжить тот цикл передач, который я условно назвал «Песни с комментариями». В прошлый раз я показал вам песню «Карагнада или песня про генеральскую дочь». Сегодня хочу рассказать вам историю возникновения и замысла песни, которая, кстати, когда меня исключали из Союза советских писателей, фигурировала в качестве одного из самых жестоких, одного из самых тяжких преступлений на моей совести. А дело было так.

В шестьдесят втором году я с группой кинематографистов вылетал на пленум Союза кинематографистов Грузии. Неизвестно, почему послали меня туда, я к Грузии, в общем, не имел никакого отношения, но так попался под руку, меня и послали. И вот в самолете, когда мы уже вылетели, я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, великого революционера, представителя «Острова свободы», Фиделя Кастро… правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже обессиленные, стояли на подгибающихся ногах, а высокое начальство стреляло в них в упор, с большой водкой, икрой и так далее.

Маленькая деталь: охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в тысяча девятьсот сорок третьем году, ко дню рождения Гения всех времен и народов товарища Сталина было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил гуляла правительственная непристойная охота.

Я помню, что когда я прочел это сообщение, меня буквально залило жаром, потому что я знал историю этого знаменитого контрнаступления, и вот… эта трагичная, отвратительная

история. И тут же в самолете я начал писать эту песню и, когда мы приехали в Тбилиси, я не пошел на какую-то там очередную торжественную встречу, а, запершись у себя в номере гостиницы, написал ее целиком. Потом я попросил достать мне гитару и положил ее на музыку. И вот так возникла песня под названием «Ошибка», которую я хочу сегодня вам показать.

Когда меня исключали из Союза писателей, то очень много… было разговоров на тему этой песни, и главным образом дезертиры, люди типа Люсечевского, которого, как известно, собирались в пятьдесят шестом году выгнать из Союза писателей за его плодотворную деятельность в качестве доносчика в сталинские времена. Он страшно возмущался этой песней, он говорил, что я оболгал великий подвиг советского народа — как же это пехота полегла «зазря»? Она не зазря полегла, она полегла, защищая родину, — так утверждал Люсечевский, но мы-то знаем из истории, что полегла она, не защищая родину, полегла она в честь липовой, якобы необходимой победы ко дню рождения Сталина.

Итак, я вам спою песню под названием «Ошибка».

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.
Так и лежим, как шагали, попарно,
Попарно, попарно,
Так и лежим, как шагали попарно,
И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка,
Побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка
Померзших ребят.
Только однажды мы слышим, как будто,
Как будто, как будто,
Только однажды мы слышим, как будто
Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Такие-сякие,
Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!
Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,

Если зовет своих мертвых Россия,
Так значит — беда!

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В нашивках, в нашивках,
Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В снежном дыму.
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота,
Пехота, пехота,
Где полегла в сорок третьем пехота,
Без толку, зазря,
Там по пороше гуляет охота,
Охота, охота,
Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря!

Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря…

У микрофона Галич…
12 октября 74

О 21-м августа 1968 года

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, где работали с режиссером Донским над фильмом (сценарий о Федоре Ивановиче Шаляпине), постучали мои друзья, и у них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск стран Варшавского договора, в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник, здесь в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно, бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, немецком языках, но русской передачи ни

одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам — слышно было очень плохо — разобрали и поняли, что действительно все это произошло.

И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям, они ее увезли в Москву, и в Москве в тот же вечер, на кухне одного из московских домов — и в Москве есть такая традиция: все обычно собираются на кухне, и гости, и хозяева — хозяин дома прочел эти стихи; и присутствующий Павел Литвинов усмехнулся и сказал: «Актуальные стихи, актуальная песня». Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом, — и я очень горжусь этой своей странной догадкой, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации, — связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием двадцать пятого августа шестьдесят восьмого года.

Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф:

> Жалеть о нем не должно,
> … он сам виновник всех своих
> злосчастных бед,
> Терпя, чего терпеть без подлости — не можно…
>
> *Карамзин*

А теперь сама песня:

… Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть!
… Здесь мосты, словно кони —
По ночам на дыбы!

Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!

Здесь, над винною стойкой,
Над пожаром зари
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Наколдовано столько,
Набормотано столько,

Что пойди — повтори!

Все земные печали —
Были в этом краю…
Вот и платим молчаньем
За причастность свою!

Мальчишки были безусые,
Прапоры и корнеты,
Мальчишки были безумны,
К чему им мои советы?!

Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды —
Они ж по ночам:
«Отчизна!
Тираны! Заря свободы!»

Полковник я, а не прапор,
Я в битвах сражался стойко,
И весь их щенячий табор
Мне мнился игрой, и только.

И я восклицал: «Тираны!»,
И я прославлял свободу,
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду.

И в то роковое утро,
(Отнюдь не угрозой чести!)
Казалось, куда как мудро
Себя объявить в отъезде.

Зачем же потом случилось,
Что меркнет копейкой ржавой
Всей силы моей лучинность
Пред солнечной ихней славой?!

… Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы…
Но я же кричал: «Тираны!»
И славил зарю свободы!

Повторяется шепот,

Повторяем следы.
Никого еще опыт
Не спасал от беды!

О, доколе, доколе,
И не здесь, а везде
Будут Клодтовы кони
Подчиняться узде?!

И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату
В ожиданье полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки?!

22 августа 1968 г.

Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но пожалуй, никогда я так не волновался и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал к себе домой. И вот они сидели все рядом: Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади, и, прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. И я… так же вот, как я всегда помню и никогда не забуду этих страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубне в номер гостиницы, так же я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи — я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел — вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и я был приглашен к нему в дом, и они меня просили спеть им несколько песен.

У микрофона Галич…

23 ноября 74

Специальная Новогодняя программа

Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новый Годом!

Скоро, очень скоро, тридцать первого числа, в десять часов, в двадцать два часа по среднеевропейскому времени я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтоб вы тоже помнили меня так, как помню вас я, не забывая ни на один день, ни на один час!

В эти дни у меня свой особенный, личный юбилей. Дело в том, что в эту рождественскую пору, три года тому назад, я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на втором этаже, в знаменитом Дубовом зале или, как его еще по старинке называют, — в Дубовой ложе, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.

Здесь уже, в аудитории друзей, мне задали вопрос о том, как все это было, и я рассказал им. Я хотел бы, чтоб вы послушали этот мой рассказ.

Это было очень интересно. Меня вызвали неожиданно, было это в общем довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей, к такому секретарю, «освобожденному»… некоему Стрехнину, в прошлом особисту, работнику Особого отдела, армейского. И он стал со мной беседовать, причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил:

— Извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем, понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Вы знаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете.

Ну, я ему сказал, что вот я, мне было предложено, и я пишу сейчас сценарий о войне. Вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал:

— Это очень интересно, вы знаете, это очень…

Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что — вы не возражаете? — я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой.

Я говорю:

— Нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста.

Значит, вошел Медников. Но Медников, это… вы знаете, вероятно, это знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Зимний дурак должен войти и снять шубу, галоши, шапку и размотать шарф, и только тогда

видно, что он дурак; а летний, он так входит, что сразу видно, так нечего ему снимать, все натурально. Так вот, Медников — он вот такой летний дурак. Он как вошел в дверь, так и сказал:

— Ну как, установили, его это книжка или нет?

Стрехнин так поморщился, сказал:

— Ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Мы сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает.

Я, уже понявши, в чем дело, говорю:

— Ну, что вас интересует, что это моя книжка? Да моя книжка.

— Да, — он говорит, — да, вот, понимаете, книжка. Как же это так получилось?

Я говорю:

— Так вы же меня не издаете.

Он говорит:

— Да-да. Тогда вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина.

… Пришел Виктор Николаевич Ильин, — это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями… Он сказал:

— Знаете, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, — он сказал это сразу входя, хотя мы еще с ним разговора и не начинали, — и давайте, вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело, так что давайте, вот приходите. Только зачем вы курите, ведь у вас же Плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит.

Я говорю:

— Да.

— Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки, перестать курить. Прямо как маленький вы какой-то, странный человек. Значит, вот, послезавтра приходите на секретариат.

Ну, так все уже было относительно ясно. Я пришел на секретариат, где происходило такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали — это так положено, это воровской закон — все должны быть в замазке и все должны выступить обязательно, все по кругу. Но там были… там тоже происходили всякие смешные неожиданности.

Скажем, такой знаменитый стукач Люсечевский, которого в пятьдесят шестом году собирались выгнать из Союза, когда была раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Ну, потом его не выгнали,

сохранили, он сделался директором издательства «Советский писатель» и член секретариата. Так вот Люсечевский, он пришел позже, с середины, примерно, уже всего этого самого аутодафе, а в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал мое дело, он сказал такие фразы:

— Вот в шестьдесят восьмом году Галичу было не рекомендовано (это чтоб не говорить, что запрещено) выступать публично. И он, как бы издевательски это наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам. Все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же неважно, выступал он в большом зале или маленьком, он же все это делал.

Люсечевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже и он начал свое выступление, а рядом с ним сидел Грибачев. Вообще компания была удивительно прекрасная. Вот, Люсечевский опоздал, и он начал свою речь с пафосной ноты, он сказал:

— Вы знаете, до чего же измельчали идейные противники. Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел открыто, на публику, спел бы свои песни…

Его толкают в бок — Грибачев. Он говорит:

— Коля, чего ты меня толкаешь, в чем дело?

… В общем, была небольшая заминка, потом как-то ее залакировали, и потом было четыре человека, которые проголосовали против моего исключения. Это были: Валентин Петрович Катаев, Агния Барто — поэтесса, такой писатель-прозаик Рекемчук Александр и драматург Алексей Арбузов, — они проголосовали против моего исключения за строгий выговор. Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло (а нас с ним связывают долгие годы совместной работы), он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот. Они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь. Мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Ну, они насторожились, они ясно уже решили — сейчас им расскажут детективный рассказ, как я, где-нибудь туда, в какое-нибудь дупло прятал какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха, но… но им сказали одно единственное, так сказать, им открыли. Им сказали:

— Видите, вы, очевидно, не в курсе, — сказали им, — там просили, чтоб решение было единогласным.

Вот все, что им открыли, дополнительные сведения, которые

они получили. Ну, раз там просили, то, как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, проголосовали, и уже все были за мое исключение. Вот как это происходило.

После тоже, так сказать, уже почти фарсово шло… Я был болен, лежал. Это было через несколько месяцев… Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на Секретариат. Я сказал, что я не могу придти. Говорят:

— Ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы не можем без тебя.

Я говорю:

— Нет, ничего не могу сделать.

— Значит, тогда нам придется отложить.

Я говорю:

— Откладывайте, если можете откладывать.

Но через два дня они позвонили и сказали, что не могли ждать больше, к сожалению, и вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.

Вот, дорогие мои друзья, так все это и происходило. С тех пор прошло три года. И мне очень странно, оглядываясь назад, воспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение, которое, кстати, ужасно возмущает Виктора Николаевича Ильина. Он уже, как я знаю, показывал его некоторым заходившим к нему в кабинет, — доставал эти стихи из сейфа и, потрясая ими в воздухе, говорил:

— Вот видите, Галич так ничего и не захотел понять.

От беды моей пустяковой,
(Хоть не прошен и не в чести),
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Сатанея от мелких каверз,
Пересудов и глупых ссор,
О тебе я не помнил, каюсь,
И не звал тебя до сих пор.

И как все горожане, грешен,
Не искал я твой детский след,
Не умел замечать скворешен
И не помнил, как пахнет свет.

… Свет ложился на подоконник,

Затевал на полу возню,
Он — охальник и беззаконник —
Забирался под простыню.

Разливался, пропахший светом,
Голос дудочки в тишине…
Только я позабыл об этом
Навсегда, как казалось мне.

В жизни глупой и бестолковой,
Постоянно сбиваясь с ног,
Пенье дудочки тростниковой
Я сквозь шум различить не смог.

Но однажды, в дубовой ложе,
Я поставленный на правеж,
Вдруг увидел такие рожи —
Пострашней балаганьих рож!

И не волки, не львы, не лисы,
Не кикимора и сова,—
Были лица — почти как лица,
И почти как слова — слова.

Все обличье чиновной дряни
Новомоднего образца
Изрыгало потоки брани
Без начала и без конца.

За квадратным столом по кругу,
В ореоле моей вины,
Все твердили они друг другу,
Как друг другу они верны.

И тогда, как свеча в потемки,
Вдруг из давних приплыл годов
Звук пленительный и негромкий
Тростниковых твоих ладов.

И отвесив, я думал, дерзкий,
А на деле — смешной поклон,
Я под наигрыш этот детский
Улыбнулся и вышел вон.

В жизни прошлой и в жизни новой,
Навсегда, до конца пути,
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Вот, дорогие мои друзья, повторяю, что желаю вам счастливого Нового Года. Повторяю, что помню вас! Не забываю вас никогда. Помните обо мне тоже. До свидания.

У микрофона Галич…

28 декабря 74

Памяти Бориса Пастернака, по случаю 15-летия со дня его смерти

Ведущий: Ровно год назад могилу Пастернака посетил поэт Александр Аркадьевич Галич. Предоставляем ему слово…

Галич: … В этот майский памятный день мне довелось в последний раз (потому что вскоре я навсегда покинул Советский Союз) быть на его мргиле в этот день. Я приехал заранее с тем, чтобы встать как можно раньше. Я уже не был тогда членом Союза советских писателей, естественно, поэтому не поселился в писательском городке, а снял комнату в Рабочем поселке, на другой стороне станции.

И вот утром, рано утром, я пришел на могилу Бориса Леонидовича. Там уже было довольно много народу. Несмотря на то, что день был рабочий, будничный, все равно люди ехали, приходили со всех сторон. Некоторые приезжали на машинах, но большинство выходило из электрички на платформе станции Переделкино, шло мимо золотых куполов Патриаршего подворья и входило «в нагой трепещущий ольшанник, в имбирнокрасный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник».

Судя по этим стихам, Борис Леонидович думал, что смерть его придет осенью. А смерть его была весенняя смерть. Смерть — возрождение. Смерть — начало новой вечной, бессмертной жизни.

Когда я пришел на могилу (как я уже сказал, там было довольно много народу), за оградой кладбища, расположившись на траве, на мокрой траве, сидела компания весьма подозрительных людей, вот тех же самых, которые когда-то провожали гроб Пастернака в день похорон. Тех. же самых кагебистов, переодетых в штатское. Они сидели прямо на траве, делали вид, что с наслаждением и увлечением едят бутерброды и

с неменьшим вниманием, с неменьшим увлечением, прислушивались к тому, что говорится у этой могилы под тремя соснами, на этой горке, с которой открывается переделкинский луг и далеко, далеко, если приглядеться, видна дача, дом, где жил Борис Леонидович.

Читались стихи на могиле. Много читали стихов. Читали пастернаковские стихи, читали свои собственные никому не известные молодые люди и известные. Читал стихи и я. Не мог себе отказать. А потом, вечером, по приглашению сыновей Бориса Леонидовича, несколько человек, мы пришли в дом Пастернака. Были сумерки, золотые майские сумерки, света еще не зажигали. Мы стояли в этих комнатах, в которых все еще царил дух Бориса Леонидовича, все еще казалось, что вот он где-то сейчас ходит, думает, бормочет свои стихи…

Я стоял в комнате, которая изображена на фотографии, которую мне подарил Корней Иванович Чуковский. Я написал стихотворение «Памяти Пастернака» — песню памяти Пастернака, и первый, кому я прочел ее, был Корней Иванович Чуковский. Он сказал: «Ну вот, теперь я вам подарю одну фотографию, она пока еще почти никому не известна». И он принес мне фотографию. На этой фотографии изображен улыбающийся Борис Леонидович с бокалом вина в руке, и к нему склонился Корней Иванович Чуковский и чокается с ним этим бокалом. А Борис Леонидович — у него очень веселая и даже какая-то хитрая улыбка на губах. Я спросил: «Что это за фотография, Корней Иванович?». Он мне сказал: «Это примечательная фотография. Эта фотография снята в тот день, когда было сообщено о том, что Борис Леонидович получил Нобелевскую премию. И вот я пришел его поздравить, а он смеется, потому что я ему, который всю жизнь свою ходил в каком-то таком странном парусиновом рабочем костюме, я ему рассказывал о том, что ему теперь придется шить фрак, потому что Нобелевскую премию надо получать во фраке, когда представляешься королю».

И вот в эту фотографию, в эту сцену, через десять минут войдет Федин и скажет, что у него на даче сидит Поликарпов и что они просят Бориса Леонидовича туда придти. И Поликарпов сообщит ему, что советское правительство предлагает ему отказаться от Нобелевской премии. Но это случится через десять минут. А на этой фотографии, в это мгновение Борис Леонидович еще счастлив, смеется, и на столе стоят фрукты, которые привезла вдова Табидзе. Ей очень много помогал Пастернак, поддерживал ее все годы после гибели ее мужа. Она прилетела из Тбилиси, привезла фрукты, весенние фрукты и цветы, чтобы поздравить Бориса Леонидовича.

И вы знаете, всякий раз, когда я смотрю на фотографию, я вспоминаю другое, тоже связанное с именем великого поэта. Все, кто помнит воспоминания друзей, знакомых Пушкина, помнят, вероятно, что в один из последних дней его жизни, после уже дуэли, была такая минута, было такое мгновенье, когда доктор Арнд сказал: «Ему лучше. Он, вероятно, выживет». Я помню, что я в детстве, да, собственно, и сейчас — я закрываю книгу воспоминаний на этом месте. Я говорю себе: «Слава Богу, ему лучше. Слава Богу, есть надежда, что он будет жить. А может быть, так и произойдет, может быть, случится чудо».

И когда я смотрю на эту фотографию, у меня тоже всегда ощущение — а может быть, случится чудо, может не войдет сюда через десять минут функционер, бьющий когда-то писателем — Федин, и не скажет, что приехал Поликарпов и что Борису Леонидовичу надо отказаться от Нобелевской премии.

Впрочем, это не имеет значения. Пастернак будет жить вечно. Нобелевская премия за ним, она заслужена. Успех, великий успех великой книги «Доктор Живаго» бессмертен. Я не много раз встречался в жизни с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Но однажды он пришел в переделкинский Дом писателей (я тогда жил там, я еще был членом Союза писателей), пришел звонить по телефону (у него на даче телефон не работал). Был дождь, вечер, я пошел его проводить. И по дороге (я уже не помню даже, по какому поводу) Борис Леонидович сказал мне: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни или не умирают никогда». Я хорошо запомнил эти слова. Борис Леонидович не умрет никогда.

Обзор культурной жизни
28 мая 75

Новый индекс запрещенных книг

Мартин: [2] Передо мной лежит приказ начальника Главлита от 30 октября 1974 года. Содержание этого приказа — об изъятии из библиотек и из книготорговой сети книг Галича, Максимова, Синявского, Табачникова, Эткинда. Сейчас здесь в студии передо мной сидит Александр Аркадьевич Галич. Десять раз упомянуто имя Галича в этом приказе, речь идет о шести-семи его произведениях общим тиражом в Советском Союзе 34 775 экземпляров. Как вы оцениваете практику составления индекса запрещенных книг?

Галич: Ну, вы знаете, практика эта всегда, мне кажется, и в средние века была порочной практикой, а в наши-то дни она не только порочна, она вдобавок совершенно бессмысленна. Дело в

том, что сейчас, насколько я понимаю из этого приказа, борьба идет даже не столько с произведениями, сколько с авторами, непосредственно с их, так сказать, физическим во плоти авторством. И это бессмысленно, потому что пьесы пошли, они ставились во многих театрах Советского Союза, фильмы существуют, они шли на экранах всех кинотеатров огромной нашей страны…

Мартин: Вы хотите сказать, что пьесы, упомянутые здесь, например, комедия-хроника в двух частях «Будни и праздники» или «Вас вызывает Таймыр» — комедия в трех действиях, или же «На плоту» — кинофильм, который назывался «Верные друзья». Все эти вещи были проверены, апробированы, шли в Советском Союзе…

Галич: Все они были апробированы, в том-то и дело! Ну, вы сами знаете практику прохождения у нас пьес или киносценариев, которые и проверяют, и просматривают, и утверждают десятки инстанций, прежде чем они доходят до своего сценического воплощения, до своего кинематографического воплощения. Так что, естественно, все они были апробированы, все они были утверждены, некоторые из них даже были награждены. Так, скажем, фильм «Верные друзья» получил первую премию в Карловых Варах, премию «Хрустальный глобус». Так, например, «Походный марш» был специально рекомендован театрам к постановке в дни сорокалетия советского комсомола и т. д. и т. п.

Но не об этом речь, речь идет о том, что пытаются уничтожить имена авторов, а не их произведения, потому что, когда речь заходит о копейке, то советские органы и советские организации умеют очень хорошо их считать, и в прокате фильмы будут существовать, но они будут существовать без авторского имени, как, впрочем, уже делалось еще тогда, когда я жил в Советском Союзе, показывали по телевидению эти фильмы, просто вырезая шапку, то есть тот титр, где упоминается имя автора.

Мартин: Но это нечто уже похожее на пиратство, в общем-то они показывают фильмы, созданные вами, или участие в которых вы принимали своим сценарием, и совершенно вымарывают ваше имя. Это, мне кажется, немножко похоже на, как бы поласковее назвать, грабеж, но в общем похоже на нечто не очень учтивое.

Галич: Ну, разумеется. Вы знаете, это вопрос о том, как защищаются авторские права в Советском Союзе. Но, понимаете, все равно ведь нельзя вымарать из памяти людей произведения. Можно даже попытаться затоптать и уничтожить имя автора, нет вот, скажем, такую статью, как Синявского и Голомштока, их знаменитую статью о Пикассо… Целые поколения

искусствоведов, работников музеев, людей, занимающихся искусством, просто воспитывались на этой статье. Она была в качестве учебного пособия распространена по всем университетам, по всем вузам, по всем техникумам. Ее изучали, ее сдавали. Как же, ее же не вытравишь из памяти!.. Ее не вытравишь из домашних библиотек, как не вытравишь из домашних библиотек сочинения Максимова, которые тоже находятся в этом индексе изъятия.

Я не говорю уже о том, что в общем все-таки последние годы, последние десять лет моей жизни больше всего я занимался сочинением стихов-песен, которые разошлись не в количестве там сорока тысяч экземпляров, а в значительно большем, и которых уже никаким приказом Романова тоже не уничтожишь… В индексе запрещенных книг, который выходил в средние века, запрещалась книга, то есть, скажем, накладывался запрет на произведение, и другое произведение этого автора могло спокойно существовать, то есть, наоборот, шла борьба как бы с произведениями враждебными. Здесь же в данном случае идет борьба с именами людей, которые должны забыть читатели, слушатели, зрители.

Правда человека
6 июля 75

Рассказ о Париже

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я говорю с вами из Парижа. Вот сейчас, сию минуту, из города Парижа, из города, о котором сложено столько стихов, столько песен, как, вероятно, ни об одном другом городе в мире, из города, названного Хемингуэем «Праздник, который всегда с тобой». И должен сказать, что это ощущение праздничности — оно действительно наступает в ту секунду, когда ты прибываешь в Париж, прилетаешь в Париж. Вот это ощущение необычности, радости, какой-то необыкновенной приподнятости и одновременно с этим необыкновенной удобности твоего существования.

Я бывал в Париже довольно много раз. Когда-то в первый раз я попал туда в качестве туриста, советского туриста с группой советских кинематографистов, потом мне довелось бывать здесь трижды. В Париже я бывал, уже когда мы работали над совместным советско-французским фильмом «Третья молодость», который был посвящен жизни и творчеству замечательного французского танцовщика, ставшего великим русским балетмейстером, Мариуса Петипа. И вот когда оформляли мои

дела на выезд в Париж, мне приходилось ждать так долго, так несусветно долго, и приезжал я в Париж всякий раз с таким невероятным опозданием, что путал, сбивал планы всех участников парижского бюро, связанных с этой работой.

Помню, как-то совершенно изведясь, я набрался мужества и позвонил в ЦК человеку, кажется, его фамилия была Козлов, который ведал оформлением моих документов на выезд в Париж, и помню, как товарищ Козлов сказал мне отечески, но строго: «Товарищ Галич, вы ведь не куда-нибудь едете, а в Париж, так что вы уж потерпите». И я терпел. Кстати, фильм этот «Третья молодость» еще довольно часто показывается на экранах телевизоров, особенно, когда приезжают какие-нибудь высокие гости из Франции, только с маленькой деталью, что фамилия автора сценария, моя фамилия, и заодно фамилия моего французского соавтора Поля Андреота, из титров вырезаются, так что фильм идет как бы безымянный, впрочем, не совсем безымянный, поскольку фамилия, скажем, ассистента режиссера или там второго, третьего оператора известны, неизвестно только, кто написал сценарий, кто был автором этого фильма. Ну вот, а теперь я приезжаю в Париж уже довольно часто, за этот год я бывал несколько раз в Париже, — просто сажусь в поезд вечером в Германии и утром просыпаюсь в Париже. Перед сном я отдаю свой паспорт проводнику, и когда утром он приносит в купе кофе, он заодно отдает мне и мой паспорт.

В первый же день по приезде в Париж я, естественно, помчался в госпиталь, который находится в Булонском лесу, в котором сейчас поправляется уже Виктор Платонович Некрасов — наш замечательный писатель, благороднейший, мужественный человек, автор одной из лучших книг о войне «В окопах Сталинграда», автор замечательных «Путевых дневников», автор многих великолепных произведений, доведенный почти до отчаяния издевательствами, которые чинили над ним власть предержащие, обысками, допросами, бесконечным издевательством, бесконечными запрещениями того или другого произведения, он в середине прошлого года принял решение выехать во Францию. Ему это разрешение было дано.

Мы с ним продружили почти уже сорок лет, с юности, мы познакомились тогда, когда мы сдавали вместе на актерское отделение в студию Станиславского. Потом мы с ним довольно часто встречались, хотя он жил в Киеве, а я в Москве. И так получилось, что из Москвы он летел в Цюрих, и в этот день я находился в Цюрихе, у меня был свободный день, и я его встретил на аэродроме. Первый человек, так сказать, которого он увидел на чужой земле был я, его старый друг.

Виктор Платонович был тяжело болен. Он лежал сорок дней в госпитале, и были минуты, когда очень мы тревожились, все его друзья. Но сейчас он уже поправился. Вчера, а я приехал в Париж позавчера, вчера его уже должны были выписать, то есть выписали, это я знаю, и сейчас он будет отдыхать в пригороде Парижа, набираться сил. Он прекрасен, как всегда. Максимов, с которым мы его вместе навещали, позавчера сказал о нем, пожалуй, очень точно, что Виктор Некрасов похож на начинающего, только начинающего стареть мушкетера. Он очень похудел и еще как-бы посмуглел, хотя он всегда был очень смуглым. У него веселые, живые глаза. Он полон энергии, полон планов на будущее. Сейчас в четвертом номере «Континента» печатается его прекрасное произведение «Записки зеваки», и он хочет работать дальше, будет работать дальше.

Потом мы, оставив, наконец, Некрасова, которого мы, вероятно, немножко даже измучили своими разговорами и беседами на разные темы… отправились к нему домой, а живет Владимир Емельянович Максимов у самой Триумфальной арки на рю Лористон; это очень тихая и прелестная улочка, которая выходит прямо к Триумфальной арке. Мы прошлись немного по этому прекрасному сиреневому, фиолетовому удивительному Парижу.

На следующий день я встречался с Марией Васильевной и Андреем Донатовичем Синявскими. У Синявского сейчас кончились лекции — он преподает в Сорбонне, как известно… — но сейчас лекции кончились, сейчас началась пора летних каникул, и он начал записывать для Радио Свобода цикл своих регулярных передач. Я хочу просто поздравить и порадовать вас, дорогие радиослушатели, что с сентября регулярно, каждую неделю будет передаваться… очередная беседа

Андрея Донатовича Синявского, беседа свободная, он будет разговаривать обо всем: и о своих впечатлениях, и о размышлениях, и о литературе, о жизни.

И опять потом вместе с Синявским бродили по Парижу, любовались Парижем, вдыхали этот необыкновенный парижский воздух, который даже табуны машин, заполнивших улицы Парижа, не могут испортить, потому что воздух этот прекрасен. Я вспоминал, как мы любили говорить в Москве, повторяя известные строчки из стихотворения Маяковского «Прощание с Парижем»:

Подступай к глазам разлуки жижа,
Сердце мне сентиментальностью расквась,
Я хотел бы жить и умереть в Париже,

Если б не было такой земли Москва.

И помню, мы тогда еще острили, что точку в этом стихотворении надо было ставить раньше, так, примерно:

Подступай к глазам разлуки жижа,
Сердце мне сентиментальностью расквась,
Я хотел бы жить и умереть в Париже. (Точка.)

Точку мы тогда в Москве ставили здесь. А вот сегодня, когда я живу в Париже, я думаю — нет, все-таки прав был Маяковский:

Я хотел бы жить и умереть в Париже,
Если б не было такой земли Москва.
Так я думаю сегодня.

У микрофона Галич…
19 июля 75

История одной пьесы

Здравствуйте, дорогие мои знакомые и незнакомые друзья! Снова мы встречаемся с вами в эфире.

Сегодня я хочу рассказать вам историю одной моей пьесы. Именно не песни, а пьесы, потому что мне кажется, что история эта в своем роде примечательна.

Это было в середине сороковых годов, в году сорок седьмом, вероятно. После трех запрещенных моих пьес, а три пьесы, первые, которые я написал, были сказками… я написал пьесу под названием «Походный марш, или за час до рассвета».

Это была попытка такой романтической трагедии. Пьеса была написана в стихах и в прозе, как ни странно, довольно легко прошла Главрепертком, который в ту пору заменял цензуру. Единственное замечание было — нельзя ли сделать в конце так, чтоб было не очень понятно, погибают герои или не погибают. Чтоб люди думали, может быть, они остались живы.

Это очень типичное замечание тех лет, потому что считалось, что для советского человека смерть — это нечто совершенно не характерное, и рассказывают, что некий Смирнов, бывший одним из председателей Ленинградского горсовета, принимая у себя мэров французских городов, на вопрос одного из них — «какова

смертность в Ленинграде», ответил просто и ясно: «А в Ленинграде у нас смертности нету». Правда, он сам опроверг это утверждение недели две спустя, разбившись в пьяном виде на машине.

Ну вот, меня попросили изменить конец, я немножко его переделал, и действительно было не очень понятно, погибают мои герои или не погибают, и пьесу принял к постановке Московский камерный театр — Александр Яковлевич Таиров.

А в ту пору, по мудрому решению Комитета по делам искусства, который тогда занимался всеми вопросами культуры вместо министерства культуры, был установлен новый институт. Институт так называемых политкомиссаров при театре. Помимо директора и художественного руководителя театра, были назначены во все театры политкомиссары — литературные генералы, иногда драматурги, иногда даже недраматурги, члены партии, разумеется, большинство из них связанные с НКВД, МГБ, КГБ, и они осуществляли роль таких политкомиссаров, как в войсковых соединениях; они осуществляли контроль за идеологической направленностью репертуара, за вопросами политпросвещения, политучебы, за всеми, так сказать, политическими аспектами жизни театра.

Таким политкомиссаром в Камерный театр был назначен драматург, крупный партийный и общественный деятель, крупный работник Комитета государственной безопасности — Всеволод Витальевич Вишневский, автор знаменитой пьесы «Оптимистическая трагедия», которая, кстати, была поставлена в Камерном театре. Главную роль комиссара играла Алиса Коонен. И должен сказать, что спектакль, несмотря на всю ходульность драматургии, был удивительным, замечательным спектаклем, и многие режиссеры, ставившие впоследствии «Оптимистическую трагедию», даже такие крупные, выдающиеся режиссеры, самостоятельные, с творческой индивидуальностью, такие, как Георгий Александрович Товстоногов, в общем-то, все повторяли находки Александра Яковлевича Таирова в этом спектакле.

Всеволод Витальевич необыкновенно горячо приветствовал меня, говорил мне не раз о том, как он счастлив, что в театр приходят новые молодые силы, как ему нравится моя пьеса.

В один недобрый день раздался телефонный звонок, и секретарша Александра Яковлевича Таирова попросила меня срочно прийти, Александр Яковлевич Таиров просит меня явиться к нему. Я пришел. Александр Яковлевич сидел какой-то грустный, нахохлившийся, сказал:

— Знаете, Саша, нам звонили из Комитета по делам искусства и приказали прекратить репетицию без объяснения

причин. В общем, я (он как-то прятал от меня глаза) сказал, что я не очень понимаю, в чем там дело, ведь так они восторженно поначалу отнеслись к пьесе, и я просил Юрия Сергеевича Калашникова (тогдашний начальник Театрального управления при Комитете искусства) на ближайшем заседании Комитета, там будет обсуждаться вопрос о летних гастролях театров, я просил вторым вопросом поставить обсуждение вашей пьесы, и Соломон Михайлович Михоэлс, и Юрий Александрович Завадский, — они обещали поддержать пьесу, и может быть, что-нибудь нам удастся сделать, хотя бы добиться разрешения постановки ее в одном нашем театре.

И вот мы сидим на этом совещании в Комитете по делам искусства в Управлении театров, проводит его Юрий Сергеевич Калашников, молодой, ему тогда было лет тридцать пять, голубоглазый, высокий, немножко похожий на портреты Бенкендорфа, и, кажется, он знал за собой это сходство. А совещание длится долго. Совещание длится невыносимо долго, потому что было такое правило: каждый выступающий начинал с того, что он сначала благодарил партию и правительство и лично товарища Сталина за огромную заботу, проявляемую в развитии советского театрального искусства. Затем следовали слова благодарности данному Управлению театров, данному председателю Комитета по делам искусства и все за эту же заботу, внимание, — и только после этого долгого, длинного обязательного вступления люди переходили к конкретным разговорам о том, кто куда едет, какие спектакли везет.

Часам к двенадцати было закончено с первым вопросом, Юрий Сергеевич Калашников поднялся, потянулся и сказал:

— Ну, вот, хорошо сегодня поработали. У нас, правда, есть еще второй вопрос, но я думаю, что время позднее, мы этот вопрос как-нибудь обсудим в другой раз.

Мы вышли в коридор, и с двух сторон Соломон Михайлович Михоэлс и Александр Яковлевич Таиров, два выдающихся деятеля театра, стали мне нашептывать: «Саша, это очень хорошо, что сегодня мы не обсуждали вашу пьесу. Видели, Юрий Сергеевич Калашников, он сегодня в раздраженном состоянии. Вы знаете, было бы плохо, если бы сегодня как раз… Понимаете, все уже устали и стали бы обсуждать вашу пьесу, это было бы очень нехорошо. Так что все к лучшему, все к лучшему. Мы добьемся, чтобы кто-нибудь поставил ее все-таки на обсуждение».

В этот момент мимо нас проходил Юрий Сергеевич Калашников, он сказал: «Хорошо поработали, правда? До свидания». «До свидания», — сказали Таиров и Михоэлс и улыбнулись. И улыбка эта пронзила меня на всю жизнь. Я

запомнил ее, эту улыбку, эту искательную, жалкую, смущенную улыбку, — это улыбались Михоэлс и Таиров — Юрию Сергеевичу Калашникову, имя которого уже давным-давно позабыто.

Так закончились репетиции. Так рухнула моя пьеса.

Через десять лет она попалась на глаза новому начальству — заместителю министра культуры Пахомову, имя которого тоже давным-давно позабыто, и она ему почему-то понравилась, эта пьеса — «Походный марш, или за час до рассвета». Она была немедленно напечатана в журнале «Театр», издана отдельной книжкой и поставлена многими театрами Советского Союза и даже за рубежом. И опять, казалось, можно было бы поставить на этой истории точку. Ан нет!

Лет десять спустя меня встретил на лестнице моего дома мой приятель-драматург, который жил в том же подъезде, и сказал: «Слушай, ты видел книгу о Таирове, только что вышла?»…

И вот я листаю эту книжку. В письме Всеволоду Витальевичу Вишневскому Таиров пишет следующее:

«Дорогой Всеволод!

Нам очень трудно (я цитирую по памяти, так что я могу быть неточен. Я цитирую основной смысл) вести вместе нашу репертуарную политику. Зачем же, после того, как ты сам говорил о том, что пьеса Галича необыкновенно талантлива, что ты рад его приходу в театр, зачем же *там* («там» было напечатано в разрядку, что подразумевало некое очень высокое совещание), на том совещании ты обозвал его бездарным мальчишкой, который подсовывает в театр макулатуру».

Так открылось то, что было решительно мне непонятно в сорок седьмом году.

Я рассказал вам эту историю не только потому, что она чрезвычайно характерна для нашей литературной и театральной жизни. Я рассказал вам эту историю еще и потому, что в ней есть зерно надежды. Все тайное, рано или поздно, станет явным. Имена подлецов, как бы тщательно ни прятали они концы в воду, станут известны людям. Непременно станут известны!

У микрофона Галич…

9 августа 75

Некто с пустым лицом

Здравствуйте, дорогие друзья! В передачах, посвященных путешествию в Америку, я вам рассказывал о том, как трудно протекал наш полет из Европы в Соединенные Штаты, о том, как нас болтало над океаном, как мы все боялись, и вот я помню, для

того, чтобы немножко отвлечься от этого страха, я пытался сочинить песню о полете в Америку. Но дальше первой строфы дело не пошло, а первая строфа была такая:

Это будет рассказ, как летают в Америку,
Без особых хлопот с получением виз.
Но сперва мы приедем к Покровскому скверику
И оттуда пешком по Колпачному вниз.

Я вспомнил путь, которые многие из нас прошли, по которому многие еще сегодня ходят «по Колпачному вниз», туда, к зданию, к двухэтажному зданию ОВИРа, где решается судьба.

Я получил повестку после двух безуспешных попыток добиться разрешения временно поехать в гости в Норвегию, а потом поехать в гости в Америку… с предложением придти в ОВИР к двенадцати часам дня в кабинет такой-то. И все собравшиеся у меня мудрецы, все уже умудренные опытом хождения в ОВИР за получением визы, стали рассматривать эту повестку, чуть ли не нюхать ее, и все удивлялись, почему мне именно назначено в двенадцать часов, потому что такого правила обычно в повестках не существует. Пишут — в такой-то день явиться, в такой-то кабинет.

Я доехал до Покровского скверика и спустился по Колпачному вниз к зданию ОВИРа, показал свою повестку милиционеру. Он сказал мне: «Идите наверх». Я гордо пошел наверх, видя, как остальные там сидели у дверей кабинета начальника ОВИРа полковника Золотухина, который вызывает людей, чтобы сообщить им об отказе.

Я поднялся наверх, меня встретила известная всем красавица овировская Маргарита Николаевна Кошелева.

Она взяла у меня повестку и сказала: «Спустимся вниз». Тут у меня упало сердце, «спустимся вниз» — это плохо. Она привела меня и посадила у кабинета Золотухина, что было совсем уже плохо. Я сидел в очереди, какие-то люди обращались ко мне и говорили: «Какая у вас очередь?». Я говорил: «У меня никакой очереди». Ну, начался немедленно немножко одесский бедлам, то есть: «Как это — никакой очереди?!». В это время по радио раздался голос, строгий голос: «Старшина, ко мне!». И старшина прошел в кабинет Золотухина. Потом он вышел и снова вошел в зал, гремя ключами, и отпер дверь какого-то кабинета. Потом по радио раздался голос: «Гражданин Галич, пожалуйста!». И я, вызывая ненависть всех окружающих, прошел в кабинет Золотухина. Там находился он сам, Маргарита Николаевна Кошелева и еще какой-то человек с такой стертой внешностью,

что сегодня я описать его бы затруднился, не смог. Золотухин сказал, что мне отказано, мне не дано разрешения на выезд. Я сказал:

— Спасибо.

И задал тоже довольно обычный вопрос:

— Кому я могу на вас пожаловаться?

Он обычно, с обычной улыбкой ответил мне:

— На нас жаловаться бесполезно, но можете писать в Президиум Верховного Совета.

Я сказал:

— Спасибо.

И тут он задержал меня, сказал:

— Так вам, ведь, вероятно, интересно узнать, по каким мотивам вам отказано?

Я сказал:

— Да, мне было бы интересно узнать.

Золотухин указал на этого безликого человека, сидевшего рядом с ним за столом, и сказал:

— Вот товарищ специально приехал с тем, чтобы поговорить с вами и объяснить вам.

Я сказал:

— Слушаю вас.

Но товарищ сказал:

— Нет, вы знаете, тут мы будем мешать товарищу Золотухину, давайте пройдем в другую комнату.

И мы вышли из кабинета Золотухина и прошли в ту, заранее отпертую комнату, которую открывали у меня на глазах. Туда же пришла Кошелева. Мы сели втроем. Мы мирно закурили, и человек со стертым лицом сказал мне:

— Вот вы хотите выехать за границу с советским паспортом. Ну как же мы можем позволить выехать за границу с советским паспортом, когда вы здесь у нас в стране занимаетесь враждебной пропагандой, а вы хотите, чтобы мы вас отправили за границу как представителя Советского Союза.

Я сказал:

— Понимаете, теперь мне все понятно. Благодарю вас.

Помолчав, он сказал:

— Но у вас есть еще другой выход.

Я спросил:

— Какой?

Он сказал:

— Вы можете подать заявление на выезд в Израиль, и я думаю, что мы вам дадим разрешение.

Я сказал:

— Собственно говоря, вы мне предлагаете выход из гражданства?

Он сказал:

— Я вам ничего не предлагаю, я просто говорю о том, что есть такая возможность.

Потом мы… распрощались.

Я не помню лица этого человека, но разговор этот я запомнил, пожалуй, навсегда, до конца своих дней. И после этого свидания я написал песню, которая называется «Песня об Отчем Доме»:

Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,
Золотой мой, недолгий век.
Но все то, что случится со мной потом, —
Все отсюда берет разбег!

Здесь однажды очнулся я, сын земной,
И в глазах моих свет возник.
Здесь мой первый гром говорил со мной,
И я понял его язык.

Как же странно мне было, мой Отчий Дом,
Когда Некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом.

Угловым жильцом, что копит деньгу —
Расплатиться за хлеб и кров.
Он копит деньгу, и всегда в долгу,
И не вырвется из долгов!

— А в сыновней верности в мире сем
Клялись многие и не раз! —
Так сказал мне Некто с пустым лицом
И прищурил свинцовый глаз.

И добавил:
— А впрочем, слукавь, солги,—
Может, вымолишь тишь да гладь!..
Но уже если я должен платить долги,
То зачем же при этом лгать?!

И пускай я гроши наскребу с трудом,
И пускай велика цена —

Кредитор мой суровый, мой Отчий Дом,
Я с тобой расплачусь сполна!

Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари —
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.

Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду.
Не зови меня!
Не зови меня…
Не зови —
Я и так приду!

У микрофона Галич…
23 августа 75

Воспоминание об Одессе

Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои слушатели, вернее, те из вас, кому удается меня услышать.

Кто из вас бывал в Одессе? Вы знаете, всю мою юность я мечтал попасть в этот город. Мой первый литературный учитель, поэт Эдуард Григорьевич Багрицкий, — одессит. Одесситами были Бабель, Олеша, кумиры нашей молодости Ильф и Петров. Из Одессы были Катаев, Вера Инбер. Многие и многие писатели и поэты вышли из этого удивительного города. Это город юго-запада, «вольный город Черноморск», как мы его знаем по произведениям Ильфа и Петрова, особенный, неповторимый, удивительный город.

Должен вам сказать откровенно, что когда я попал в него впервые, — это было в конце сороковых годов, — мне Одесса, как говорят у нас, «не показалась»… То есть она мне не открылась, я ее не увидел, она не захотела мне открыть себя. Она была сумрачной и хмурой, — дело происходило, правда, поздней осенью, — и вот этого знаменитого одесского, галльского духа, одесской веселости, оптимизма, я как-то в первый раз не почувствовал.

Но зато потом, когда я много раз бывал в Одессе и по работе, и просто так приезжал, я постепенно стал проникаться удивительным, неповторимым духом этого города, который

действительно открывается далеко не каждому, и далеко не сразу, а делает это постепенно, мало-помалу, когда сам того захочет.

Один мой друг, которому я хотел бы здесь, сейчас сказать слово благодарности за его внимание ко мне в последние, очень трудные годы моей жизни, за его неизменную поддержку, за то, что он не только посещал меня, но выслушивал все то, что я пишу, — а человек он нелицеприятный и суровый, — замечательный поэт, замечательный переводчик, одессит. Он мне рассказывал очень забавную историю о своем последнем посещении Одессы, это уже после того, как меня выгнали изо всех союзов, и я был лишен, так сказать, «гражданского лица».

И вот мой друг поехал в Одессу, ему нужно было зачем-то на кладбище, а потом с кладбища он зашел на барахолку, которая находится рядом с кладбищем.

Одесская барахолка — это совсем особенное, тоже неповторимое зрелище. Но мой друг не пошел на барахолку, он стоял у ворот и ждал каких-то своих знакомых. А тут у ворот молодые люди продавали магнитофонные пленки с самыми разными записями: Армстронга, Эллы Фитцджеральд, Битлов, Роллинг Стоунов и советских бардов: Высоцкого, Окуджавы. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и спросил:

— Слушай, а Галич у тебя есть?

На что продавец ему ничего не ответил. Друг удивился и, снова положив руку на плечо продавцу, сказал:

— Вот, черт возьми, до чего довели частный сектор! Уже на вопросы даже не отвечает!

Тогда этот молодой человек, скривив рот, негромко сказал:

— Нужна мне еще сто девяностая статья! Мне хватает сто пятьдесят четвертой.

Сто пятьдесят четвертая статья по уголовному кодексу Украины — это статья за спекуляцию. Так вот на спекуляцию он шел, а антисоветскую агитацию он иметь не хотел. И вот в связи с этим коротким рассказом об Одессе мне хочется вам спеть песню, которая называется «Воспоминание об Одессе».

У песни есть эпиграф:

> …Когда бы не Елена,
> Что Троя вам одна, ахейские мужи?!
> О. Мандельштам

Итак, песня «Воспоминание об Одессе».

> Научили пилить на скрипочке,
> Что ж — пилит!

Опер Сема кричит:
— Спасибочки! —
Словно:
— Пли!

Опер Сема гуляет с дамою,
Весел, пьян.
Что мы скажем про даму данную?
Не фонтан!

Синий бантик на рыжем хвостике —
Высший шик!
Впрочем, я при Давиде Ойстрахе —
Тоже — пшик.

Но — под Ойстраха — непростительно
Пить портвейн.
Так что в мире все относительно,
Прав Эйнштейн!

Все накручено в нашей участи —
Радость, боль.
Ля-диез, это ж тоже, в сущности,
Си-бемоль!

Сколько выдано-перевыдано,
Через край!
Сколько видано-перевидано,
Ад и рай!

Так давайте ж, Любовь Давыдовна,
Начинайте, Любовь Давыдовна,
Ваше соло, Любовь Давыдовна,
Раз — цвай — драй!

Над шалманом тоска и запахи,
Сгинь, душа!
Хорошо хоть, не как на Западе,
В полночь — ша!

В полночь можно хватить по маленькой,
Боже ж мой!
Снять штиблеты, напялить валенки
И — домой!

…Я иду домой. Я очень устал и хочу
Спать. Говорят, когда людям по ночам
Снится, что они летают — это значит,
Что они растут. Мне много лет, но
Едва ли не каждую ночь мне снится, что
Я летаю.

…Мои стрекозиные крылья
Под ветром трепещут едва.
И сосен зеленые клинья
Шумят подо мной, как трава.

А дальше —
Таласса, Таласса!
Вселенной волшебная стать!
Я мальчик из третьего класса,
Но как я умею летать!

Смотрите —
Лечу, словно в сказке,
Лечу сквозь предутренний дым,
Над лодками в пестрой оснастке,
Над городом вечно седым,
Над пылью автобусных станций —
И в край приснопамятный тот,
Где снова ахейские старцы
Ладьи снаряжают в поход.

Чужое и глупое горе
Велит им на Трою грести.
А мне —
За Эгейское море,
А мне еще дальше расти!

Я вырасту смелым и сильным,
И мир, как подарок, приму.
И девочка
С бантиком синим
Прижмется к плечу моему.

И снова в разрушенной Трое
— Елена! —
Труба возвестит.

И снова…

… На углу Садовой какие-то трое остановили меня. Они сбили с меня шапку, засмеялись и спросили: «Ты еще не в Израиле, старый хрен?!». — «Ну что вы, что вы! Я дома. Я — пока — дома. Я еще летаю во сне. Я еще расту!..»

У микрофона Галич…

13 сентября 75

Разговор с матерью

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте. Обычно я, когда веду свои передачи, думаю о вас — знакомых и незнакомых, о тех, кто слушает меня, кому удается меня слышать, и обращаюсь я ко всем вам, иногда даже не очень представляя себе, как вы выглядите, сколько вам лет, кто вы — мужчина или женщина, чем вы занимаетесь.

Сегодня я обращаюсь к одному-единственному слушателю в Советском Союзе. Я не зцаю, удастся ли этому слушателю поймать мою передачу, но может быть, кому-нибудь удастся ее услышать, и он тогда расскажет этому слушателю о моей передаче. А этот слушатель — простите уж вы меня — это моя мама. Я с нею сегодня говорю. Ей сегодня — не сегодня — скоро, на днях исполнится восемьдесят лет. Это очень большой срок, очень большая жизнь, горестная, трудная, — жизнь, в которой она потеряла мужа, моего отца, которого она так нежно, так горячо любила. Всю свою жизнь она любила его, а потом она потеряла меня, своего старшего сына.

Я помню ее на аэродроме: все плакали, когда прощались, — она не плакала. Кто-то ее спросил:

— Почему же вы не плачете?

Она сказала:

— У меня сегодня слишком большое горе — я не могу плакать — слишком великое горе у меня сегодня.

Мама! Родная моя! Я с тобой говорю, я к тебе обращаюсь, и вот здесь, по радио, через весь мир, через все границы, через все рубежи, я обращаюсь к тебе и хочу тебе сказать, что я люблю тебя, мама. Мы с тобой были особенно близки последние годы моей жизни там, в Советском Союзе, последние, самые трудные годы моей жизни, мы были с тобой так близки. Пожалуй, ты единственный человек, который знал обо мне все, потому что со своей печалью, со своими бедами, со всей своей радостью я

приходил только к тебе, дорогая моя.

Мы, — я говорю об этом, потому что я имею право это сказать, — мы порою бываем очень невнимательны к нашим матерям; мы думаем, что мама — это то, что есть всегда, и то, что мы сказать ей о своей любви еще успеем. А вот видишь — я не успел, мне приходится говорить с тобой за сотни километров, — чтобы сказать тебе о том, как я тебя люблю.

И еще я вспоминаю, когда-то очень давно, пятьдесят с лишним лет тому назад, помнишь, мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме, деревянном; во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и муэдзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, — это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, — я помню, как мой отец пришел и сказал:

— Знаешь, давай и мы уедем.

И ты сказала:

— Нет, это наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам ни будет трудно.

И пятьдесят лет спустя я пришел к тебе и сказал:

— Мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить.

И ты мне ответила:

— Я знаю, о чем.

— Но ты помнишь твой разговор с отцом пятьдесят лет тому назад?

Ты сказала:

— Конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства; мы — должны были остаться, ты — должен уехать.

Мама моя дорогая, милая моя, хорошая моя. Ты сильный человек, я знаю. Иногда мне удается дозвониться тебе по телефону. К сожалению, это случается не часто, и поэтому я пользуюсь этой благословенной возможностью сказать тебе сейчас по радио эти слова моей любви, поздравить тебя с твоим восьмидесятилетием, поздравить тебя с твоим великим мужеством, добротою, суровой добротою — ты умела быть строгой и умела быть доброй.

Мама моя родная! Я поздравляю тебя, я люблю тебя, здравствуй, мама, здравствуй…

И знаешь, в заключение все-таки, для того, чтоб я не зря взял гитару, я спою тебе песню, которую ты любила, которая тебе нравилась. И хотя она уже звучала по радио, но сегодня я еще раз повторю ее специально для тебя. С днем рождения, мама! Здравствуй!

Говорят, что где-то есть острова,
Где растет на берегу трын-трава.
Ты пей, как чай ее,
Без спешки-скорости,
Пройдет отчаянье,
Минуют хворости.
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где не тратят понапрасну слова,
Где виноградные
На стенках лозаньки,
И даже в праздники не клеют лозунги.
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где четыре — как закон — дважды два.
Кто бы ни указывал
Иное — гражданам,
Четыре — дважды два
Для всех и каждого.
Вот какие есть на свете острова!..

Говорят, что где-то есть острова,
Где неправда не бывает права,
Где совесть — надобность,
А не солдатчина,
Где правда нажита,
А не назначена!..

Вот какие я придумал острова!..

У микрофона Галич…
5 октября 75

Беседа, у которой нет названия, немного грустная

Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, дорогие мои слушатели в Советском Союзе!

Я уже говорил вам, что всякий раз очень волнуюсь, когда я сажусь перед микрофоном, понимаю, что сейчас я буду разговаривать с вами, понимаю, что кому-то из вас удастся меня

услышать и рассказать, может быть, другим о моей передаче, о моем разговоре с вами. Я всегда стараюсь разговаривать с вами так, как говорили мы когда-то, когда мы встречались лично, не, выражаясь торжественно, через «эфир».

На днях мне довелось принимать участие в устроенном баварским союзом писателей вечере, посвященном «литературе в изгнании». И странное у меня было чувство — вот мы сидели за одним столом — писатели из Венгрии, из Болгарии, из Чехословакии, из Польши, из Югославии. И не сговариваясь, мы все говорили о том, как трудно нам, несмотря на условия жизни здесь, на Западе, несмотря на то, что приняли нас здесь хорошо, внимательно к нам относятся, заботятся о нас. Но все-таки трудно. Особенно трудно, когда идешь по улице, вдруг слышишь чужую незнакомую речь. Дело не в том, что ты ее не понимаешь, а дело в том, что она для тебя, для твоей работы, для твоей жизни ничего решительно не значит. Но самое удивительное, что тоскуя по родной речи, иногда вздрагиваешь, услышав ее. Так вот, недавно я уезжал в Париж и на вокзале я проходил мимо трех стоящих у киоска людей и вдруг услышал, как один говорит другому: «Слушай, там, знаешь, мировые сосиски дают, просто мировые сосиски, такое пиво и сосиски!»

Я хотя и улыбнулся внутренне, но почему-то ускорил шаг, потому что встречаться мне с этими людьми не очень хотелось.

Очень скоро, на днях, мне исполняется пятьдесят шесть лет. Я надеюсь, что кто-то из вас поздравит меня, чокнется со мной, так сказать, мысленно.

Милые вы мои! Вот вас мне очень не хватает здесь, вас, моих слушателей, моих друзей. Тех, с которыми я привык за эти годы делить и радость, и горе. Радости, правда, в нашей жизни было маловато, а горя предостаточно. Впрочем, как вы знаете сами, случилась необыкновенная радость в этом месяце, в октябре — Андрей Дмитриевич Сахаров получил Нобелевскую премию мира. И кстати, я думаю, что у нас в стране было много нобелевских премий. Были нобелевские премии по литературе, были нобелевские премии по науке, но пожалуй, на долгие десятилетия, никому, как говорят у нас в просторечии, «не светит» у нас в стране Нобелевская премия мира. Это единственный, уникальный и неповторимый случай.

А так — мне сегодня немножко грустно, потому что, когда тебе исполняется пятьдесят шесть, ты понимаешь, что уже поехал, по выражению Шолома Алейхема, — с ярмарки и хочешь проверить, с пустыми руками ты уезжаешь или нет.

Я вам в заключение нашего краткого разговора спою одну песню. Написал я ее когда-то, года два тому назад, еще живя в

Москве, на улице Черняховского. Написал я ее почти как упражнение, потому что даже в словаре поэтических терминов сказано, что эта поэтическая стопа — пэон четвертый — встречается в русской поэзии чрезвычайно редко, она была сочинена специально, ею пользовался поэт Иннокентий Анненский… И вот все эти дни я почему-то вспоминаю эту песню. И мне хочется в заключение нашего разговора вам ее спеть.

Вьюга листья на крыльцо намела,
Глупый ворон прилетел под окно
И выхаркивает мне номера
Телефонов, что умолкли давно.

Словно сдвинулись во мгле полюса,
Словно сшиблись над огнем топоры —
Оживают в тишине голоса
Телефонов довоенной поры.

И внезапно обретая черты,
Шепелявит озорной шепоток:
— Пять-тринадцать-сорок три, это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!

Пляшут галочьи следы на снегу,
Ветер ставнею стучит на бегу.
Ровно в восемь я прийти не могу…
Да и в девять я прийти не могу!

Ты напрасно в телефон не дыши,
На заброшенном катке ни души,
И давно уже свои «бегаши»
Я старьевщику отдал за гроши.

И совсем я говорю не с тобой,
А с надменной телефонной судьбой.
Я приказываю:
— Дайте отбой!
Умоляю:
— Поскорее, отбой!

Но печально из ночной темноты,
Как надежда,
И упрек,
И итог:

— Пять-тринадцать-сорок три, это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!

До свиданья, дорогие мои друзья! До новых встреч!
У микрофона Галич…
21 октября 75

Специальная передача «Примечательные встречи»

(Встреча у микрофона Александра Галича и Виктора Некрасова)

Галич: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!

Сегодня у нас в студии впервые находится замечательный писатель, замечательный человек, один из лучших людей, которые встречались мне на моем жизненном пути — Виктор…

Некрасов: А ты уверен в этом?

Галич: Я почти что уверен в этом. Хотя, может быть, ты меня еще и разочаруешь. Но пока еще нет. Пока нет, хотя дружим мы, знакомы вот с этим человеком, с Виктором Платоновичем Некрасовым, ни много, ни мало, страшно сказать, почти сорок лет. То есть не почти сорок лет, а сорок лет.

Некрасов: Сорок.

Галич: Сорок! И виделись мы с ним за эти сорок лет немало раз. Встречались — пили водку, разговаривали. Обсуждали всякие жизненные проблемы и литературные проблемы. Но было у нас с ним пять особенно примечательных встреч. Вот первая встреча была тогда, когда мы познакомились, а было это в тридцать пятом году, когда открылась в Москве студия Константина Сергеевича Станиславского, последняя студия великого мастера, основателя Художественного театра, великого актера, режиссера, педагога, — и вот в эту студию мы с Виктором Платоновичем, который приехал в Москву из Киева, сдавали экзамены, хотели поступать на актерское отделение, — вот тогда-то мы с ним и познакомились.

Некрасов: Познакомились, только получилось так, что Сашу Галича приняли, а Вику Некрасова не приняли. Почему — это вопрос другой, но во всяком случае — встретились.

Галич:… Но должен сказать, что… Вике Некрасову тогда очень повезло, потому что мы, например, проходили через огромное количество туров, и хоть нас тренировали, дрессировали и принимали у нас экзамены разные люди, а Вику Некрасова принимал и экзаменовал лично Константин Сергеевич

Станиславский.

Некрасов: Это было чуть-чуть позже… Первый раз я не попал, второй раз приезжал, и, как я уверен, после этого экзамена Константин Сергеевич понял, что жить дальше не имеет смысла, и через месяц, так сказать, ушел в лучший из миров.

Но вспомним с тобой наши первые встречи.

Первая наша встреча была, я еще помню, ты тогда уже гитару в руках держал.

Галич: Да, было!

Некрасов: И тогда ты уже пел «Хочу, хочу в Бразилию, далекую страну…». Была такая песня… мы были молоды…

Галич: А это было на слова Маршака. Была такая песня:

Из Ливерпульской гавани
Всегда по вечерам
Суда уходят в плаванье
К далеким берегам.
Плывут они в Бразилию,
Бразилию, Бразилию,
И я хочу в Бразилию,
К далеким берегам…»

Некрасов: Ты еще в Бразилии не был?

Галич: А ты?

Некрасов: Нет! Поедем вместе!

Галич: Поедем!

Некрасов: Так, — это первая юношеская прекрасная, веселая встреча.

Галич: Да, это была такая наша первая встреча, удивительная встреча нашей юности, когда мы начинали, мечтали о светлом и прекрасном будущем… А потом мы действительно надолго расстались и встретились после войны. После войны я написал свою первую пьесу, которую принял у меня к постановке Камерный театр, руководителем которого был тогда Александр Яковлевич Таиров, а литературным руководителем — Всеволод Витальевич Вишневский. И вот Всеволод Витальевич Вишневский вызвал меня в Союз писателей поговорить со мною о моей пьесе «Походный марш». Я пришел в Союз писателей, на улицу Воровского, поднялся в приемную секретариата, где сидели секретари Союза писателей, и к своему полному удивлению увидел в этой приемной Вику Некрасова, Виктора Платоновича Некрасова. Мы с ним обнялись, расцеловались. Это было после войны, первый год после войны. Я спросил его: «Что ты тут делаешь?». Вот что он мне ответил:

Некрасов: Жду, когда меня примут.

Галич: Я сказал: «Зачем тебе это нужно? Кто тебя должен принимать?». Он сказал: «Меня должен принимать Фадеев». Я говорю: «А зачем? Для чего тебе Фадеев понадобился?»

Некрасов: Почему-то нам всем писателям нужно иногда встречаться с руководителями Союза писателей. Для чего это — не совсем ясно! Но почему-то надо перед тем, как ты с ними встречаешься, довольно долго сидеть в приемной. И вот мы сидели с Сашей… Кто из нас первый прошел? Я уже не помню.

Галич: По-моему, ты.

Некрасов: Я прошел?

Галич: Да! Но Виктор Платонович просто забыл, что я его спросил — «а для чего тебе Фадеев». Он сказал: «Да понимаешь, я тут написал повесть, сам не знаю, что из этого получилось. Вот меня Фадеев — я послал ее, Фадеев прочел и вот хочет со мной побеседовать. Наверное будут меня ругать». А повесть эта была ни больше, ни меньше как роман Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда».

Некрасов: По не понятным мне причинам Фадеев не очень благосклонно отнесся к этой повести. Это уже потом мне рассказывал Всеволод Витальевич Вишневский, который был редактором журнала «Знамя» и опубликовал, и нужно сказать, без всяких поправок и изменений, повесть. Но дальше, когда случилось совершенно неожиданное для меня одно событие, она (повесть) получила Сталинскую премию, Всеволод Витальевич вызвал меня, закрыл все двери, по-моему, даже выключил телефон, и сказал: «Виктор Платонович, вы знаете, какая странная вещь произошла (а сам он был тоже членом Комитета по Сталинским премиям). Ведь вчера, ночью, на последнем заседании Комитета Фадеев вашу повесть вычеркнул, а сегодня она появилась. За одну ночь только один человек мог бы вставить повесть в список. Вот этот человек и вставил.

Галич: Да, мы догадываемся, кто был этим человеком, который мог вставить тебя в список вопреки…

Некрасов: Это загадочная совершенно история, так как этот человек, Иосиф Виссарионович, со своими странностями, о которых мы говорить не будем, многие знают, — одна из них, что он, как ты знаешь, — семнадцать раз ходил на «Дни Турбиных»; к этим странностям, по-моему, и относится, что вот он, по рассказам, вставил мою повесть, в которой, в общем, скажем, так уж много он не упоминался…

Галич: Вот, это была наша вторая встреча в секретариате Союза писателей, примечательная встреча, я имею в виду. Потом мы встречались много раз — встречались в Киеве, в Москве, в

Ялте, где мы жили вместе в Доме творчества Союза писателей, вместе гуляли, вместе ходили в кино, вместе бывали в гостях, в основном как раз у друзей Виктора Платоновича, которых у него в Ялте великое множество. А потом была следующая примечательная встреча, которая началась с телефонного звонка.

Мне позвонил Володя Войнович по телефону, сказал… очень торопливым, задыхающимся голосом… что он говорит из автомата… что они сейчас с Марленом Хуциевым встречали Виктора Некрасова, который приехал из Киева в Москву, машину задержали, задержали Некрасова, он сейчас находится в таком-то отделении милиции…

Некрасов: В семьдесят седьмом…

Галич: В семьдесят седьмом, где-то на Грузинах.

Некрасов: Где-то недалеко от «Пекина».

Галич: Где-то недалеко от «Пекина», и чтобы я срочно позвонил всем знакомым иностранным корреспондентам, дал им этот адрес с тем, чтобы они ехали туда, потому что, значит, Вику надо выручать. Я позвонил нескольким знакомым, дозвонился до одного нашего друга из «Рейтер», из агентства «Рейтер», который сказал, что он сейчас немедленно туда поедет.

Мне снова позвонил Володя Войнович, спросил, дозвонился ли я кому-нибудь. Я сказал, что дозвонился, что уже едут люди туда, а он сказал: «А ты сиди на телефоне, так сказать, будь дежурным, мы тебе будем сообщать, как разворачиваются события».

Я сидел на телефоне, нервничал, в этот момент вдруг распахнулась дверь — а у меня это бывало часто, мы просто не запирали двери в нашей московской квартире, — появился с букетом цветов Виктор Платонович Некрасов и сказал…

Некрасов:… жрать хочу!

Галич: «жрать хочу», сказал он. Вот. А теперь, как все было на самом деле, ибо я, так сказать, при сем не присутствовал…

Некрасов: Ну, чтоб не затягивать весь этот рассказ — я приехал, меня встретили… Володя Войнович и Марлен Хуциев, меня устраивали в гостиницу «Пекин», и пока там разговаривали с администрацией, милиция заинтересовалась нашим присутствием и сказала, что надо выяснить кое-какие дела в семьдесят седьмом отделении милиции, куда нас и привезли.

Володе Войновичу и Хуциеву сказали — будьте здоровы и уходите, а товарищ Некрасов пускай остается. Друзья не ушли, мы просидели там, вероятно, часа полтора, сидела милиция и ходили какие-то мальчики в штатском, поглядывая на нас. На все мои вопросы вообще — что вы хотите от меня — мне говорили, что сейчас выяснится, сейчас выяснится, а вы можете уходить,

чего вы здесь сидите, уходите. Они говорят: «Мы сидеть будем». И тут Володя выскочил и позвонил по телефону тебе, потом появилась — сквозь решетку мы увидали — проезжает туда и обратно машина с дипломатическим, иностранным номером. И вот тут-то мальчик в штатском засуетился, милиционеры куда-то ушли, потом вышли и вежливо сказали Марлену: «Произошло недоразумение, ваша машина… есть подозрение, что она девочку переехала или задела, поэтому вы все свободны». Когда я спросил: «Минуточку, вы же их всех, которые переехали машиной, отпускали, а задерживали меня?». «Простите, товарищ Некрасов, произошло недоразумение, так сказать, мы… та-та-та-та-та-та-та-та…» Тут я помчался, значит.

Галич: Ко мне.

Некрасов: К Саше. И мы там пропустили свои сто грамм по поводу моего освобождения из узилища…

Галич:… освобождения из узилища… Да, а после этого, следующая наша примечательная встреча была уже здесь, за границей, на Западе.

Я был в этот день в Цюрихе, и в этот день у меня не было выступлений вечером, и в этот день в Цюрих из Москвы…

Некрасов: Из Киева…

Галич: Из Киева. Да, из Киева, прямым рейсом прилетел на Запад Виктор Платонович Некрасов. Из Парижа встречать его приехала Мария Васильевна Синявская… мы с ней вместе стояли и ждали, пока выйдут из самолета пассажиры и появится Виктор Платонович Некрасов.

Некрасов:… Когда я вылез из самолета и сквозь стеклянную дверь цюрихского аэродрома вдруг увидел сверхродное лицо Саши Г алича и полуродное, но приятное лицо Маши Синявской, мне как-то стало, — я не знаю, как это сказать, — тепло, радостно, суетливо, растерянно… а потом начались объятия и…

Галич: Да потом начались объятия, поцелуи, а потом мы с Виктором Платоновичем Некрасовым, — я прошу извинить меня, блюстители нравственности, — пошли в туалет, и в туалете меня Виктор Платонович Некрасов спросил: «Кому как, а в общем жить можно?». Я говорю: «Можно, Вика, можно!»

23 января 76

Специальная передача «Салтыков-Щедрин — к 150-летию со дня рождения»

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося русского писателя, классика, Салтыкова Михаила

Евграфовича, литературный псевдоним которого Салтыков-Щедрин.

Жизнь Салтыкова-Щедрина представляет собой удивительное сочетание личных неудач, личных поисков, личных смятений и внешне как будто бы благополучного продвижения по чиновней лестнице.

Михаил Евграфович после окончания лицея был определен чиновником в канцелярию Военного министерства. Затем было время, когда Салтыков-Щедрин возглавлял Казенную палату в Пензе, Туле, Рязани и так далее; и вместе с тем, пожалуй, нет ни одного писателя в истории русской литературы так жестоко, так зло, так беспощадно высмеявшего все порядки казенного существования русского чиновничества, русского общества, русских высших и низших классов.

У Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина действительно удивительная судьба. Его называют классиком, именем его клянутся и распинаются всевозможные литературоведы, но на моей памяти запрещение целого ряда произведений Салтыкова-Щедрина уже в наше советское время. Я помню довольно хороший спектакль, я бы даже сказал — прекрасный спектакль, поставленный Театром сатиры, под названием «История города Глупова» по роману, знаменитому роману Салтыкова-Щедрина, который был запрещен со скандалом, ибо власть имущие, власть предержащие немедленно усмотрели в этом спектакле — а спектакль был точно построен по роману Щедрина и не отходил от него ни на йоту ни в каких деталях и ни в каких репликах, — так вот власть имущие усмотрели в этом романе клевету на советскую действительность, потому что, надо сказать, что история чиновничества России… не только не прекратилась с прекращением существования царской власти, а наоборот, усилилась, развивалась, доходила до того гиперболического совершенства, которое и описывал в своих произведениях Салтыков-Щердин. Спектакль был запрещен.

Известно также, что большинство произведений Салтыкова-Щедрина не слишком рекомендовано даже для классного чтения, за исключением сказок, которые, как известно, одобрительно похваливал Владимир Ильич Ленин. Я уже как-то рассказывал, что в шестьдесят восьмом году мне довелось жить в Дубне, работать там. Я заболел, попал в больницу и, естественно, ко всем своим друзьям приставал с просьбой приносить мне что-нибудь читать. Вот однажды пришел мой приятель-физик и с довольно таинственным видом сунул мне под одеяло книжку, завернутую в белую бумагу. Я был уверен, что это какой-нибудь очередной том самиздата, и спросил его, что это. Он сказал:

— Это Салтыков-Щедрин, «Современная история».

— Да ты что, с ума сошел, что ты мне принес?

Он говорит:

— Сейчас в Дубне все этим романом зачитываются. Ты только начни, открой на первой странице, и ты увидишь, что это действительно самая современная история, недаром она так названа автором.

Я открыл и с первой же реплики покатился со смеху, потому что там реплика была, если мне не изменяет память, такая: «На днях заходил ко мне Глумов, затворил дверь и с таинственным видом сказал: — «Надо повременить». Я зашелся от смеха и с восхищением и восторгом прочел этот роман, в котором, действительно, такое количество догадок, такое количество прозрений, такое количество совершенно поразительных совпадений с тем, что происходило вокруг нас в то время в Советском Союзе, что я понял, почему этот роман пользуется таким сумасшедшим успехом среди физиков в Дубне и почему он ходит по рукам наравне с самиздатом.

Доля сатирика — это всегда горькая доля. Сатирик — не юморист. Сатирик — не тот человек, который развлекает читателя, взявшего книгу перед сном почитать что-нибудь эдакое веселенькое. Сатирик всегда тревожит. Сатирик всегда будоражит человеческие сердца и умы, будоражит совесть, и читать сатирика перед сном не рекомендуется. Читать Михаила Евграфовича

Щедрина «скуки ради» перед сном — не советую никому. Он пробудит такую горестную совесть, он заставит вас так задуматься о том, что вы делаете и как вы миритесь с тем миром, в котором вы живете, как вы миритесь с тем злом, с той ложью, в которой вам приходится существовать, что действительно, пожалуй, Салтыкова-Щедрина надо читать на трезвую голову и понимая, что ты берешься читать. Ибо в русской литературе (хотя и говорят, что Чехов где-то продолжил Салтыкова-Щедрина, Горький в каких-то линиях своего творчества продолжил Салтыкова-Щедрина, но это, пожалуй, уже литературоведческие натяжки) Салтыков-Щедрин стоит особняком, как совсем необыкновенная, удивительная фигура русской литературы, как, пожалуй, один из первых ее писателей, заставивших людей обратиться и взглянуть… обратиться к себе и взглянуть на мир, который окружает их.

Я уж не говорю о таком выдающемся романе, единственном, который нашел свое воплощение в других искусствах, в искусстве кино, как «Иудушка Головлев», где создан актером Гардиным действительно необыкновенный образ, равный образам Тартюфа, Сганареля, образам, величайшим образам мировой литературы.

Но Салтыков-Щедрин велик и сегодня, ибо то, о чем он писал, то, что он пытался сказать и показать людям, живо, не только живо, как я уже сказал, а усилилось во сто крат сегодня. И когда с трибуны партийного съезда, как вы помните, бьш выброшен лозунг «Нам нужны Гоголи и Щедрины», то немедленно народная молва, народная мудрость, воплотила это в такой иронической частушке:

Говорят, что нам нужны
Посмирнее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.

Нет, нам не нужны «посмирнее Щедрины». Нам сегодня очень нужен Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, ибо он был нашим учителем, ибо он первым, пожалуй, забил в набат, предупреждая человечество о той страшной язве, которую несет за собою разветвленное чиновно-бюрократическое общество.

27 января 76

Из цикла «Благодарение»

О поэзии

У американцев есть замечательный праздник. Называется он «День Благодарения». Вообще мне кажется, что чувство благодарности — это одно из самых прекрасных чувств человеческой души. И вот цикл передач, который я сегодня начинаю, мне бы хотелось назвать «Благодарением». И поговорить мне с вами захотелось о поэзии, — довольно банальная и обычная тема. Тем более, что у нас на радиостанции Свобода довольно часто на тему о поэзии, на тему о том, нужно ли передавать поэзию в эфир, нужна ли поэзия советским слушателям, возникают довольно частые споры. Ну мне-то лично кажется, что нет другой такой страны, где так любили бы поэзию, как в России. Мне даже не хочется на эту тему спорить. Пожалуй, одно из немногих сбывшихся пророчеств Владимира Владимировича Маяковского, это строчки о том, что в Советском Союзе потребление стихов выше довоенной нормы.

Однажды в одной московской компании я задал провокационный вопрос. Я сказал: «Ну вот, друзья мои, мы говорим с вами о поэзии, о стихах, часто обсуждаем их, часто говорим — это стихи, а это не стихи. И обычно как-то понимаем друг друга с полуслова. А вот как сделать так, чтобы человек, не

привыкший употреблять поэзию, не знающий, что это такое, не привыкший ее слушать, читать, как бы объяснить ему разницу между поэзией и непоэзией, между одной строфой, написанной в рифму, и другой строфой, тоже написанной в рифму, но где одна строфа — поэзия, а другая — нет».

В качестве примера темы для этого спора я привел два четверостишия:

Вот иду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги.
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Это стихи одного из величайших поэтов девятнадцатого века Федора Ивановича Тютчева. Повторяю эту строфу, чтобы вы еще раз ее прослушали, прочувствовали:

Вот иду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Ангел мой, ты видишь ли меня?

А вот стихотворение, написанное совершенно точно таким же размером, в том же ритме, с теми же правильными рифмами, и если бы не кощунствовать, то просто одну строфу можно было бы поставить следом за другой:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

Ну как же объяснить человеку, который, как я уже сказал, не привык… серьезно относиться к поэзии, не умеет ни чувствовать ее, ни воспринимать ее как особого рода волшебство, как вот ему объяснить, что первая строфа — это великие стихи, а вторая строфа, написанная тем же размером, в рифму, и которая, может быть, даже еще более понятна. Ну что, мол, там…

Тяжело мне, замирают ноги.
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Что это такое? А тут все ясно, просто:

Расцветали яблони и груши,
Поплылитуманы над рекой,

Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

Прекрасно. Все хорошо, все в рифму. Стихи, правда? Ан нет, не стихи. И когда я задал этот провокационный вопрос, то разгорелся жаркий, долгий, типично московский спор до зари о том, что же это такое — стихи, и как попытаться сформулировать для человека, который бы задал вам такой вопрос: «Что это такое, что это за вещь за такая?». Ну, применялась старинная классическая формула: «Стихи — это лучшие слова в лучшем порядке», вспоминали Пушкина — «словам тесно — мыслям просторно», перефразировали Чехова с его краткостью, помните — «Жена есть жена». Ну, так говорили: «Стихи есть стихи». Но все-таки, если говорить откровенно, до конца, так мы ни до чего и не дошли. Я подумал потом уже, возвращаясь домой, что для меня стихи — естественно, мое определение не претендует ни на какую научность и даже наукообразность, — но для меня стихи — это слова, сказанные так, что они вызывают благодарность у человека, который их услышал впервые и уже не забудет потом никогда. Вот такими словами для меня является строчка из изумительного стихотворения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама из его стихотворения:

Умывался ночью на дворе —
Твердь сияла грубыми звездами.
Лунный луч, как соль на топоре,
Стынет кадка с полными краями.
На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова,—
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Стихи изумительные, но вот эта строчка «лунный луч, как соль на топоре», — вы вслушайтесь. Помнится, тогда еще в юности, она пронзила меня таинственностью, чудом увиденного, чудом сказанного, чудом сочетания этих, казалось бы, несочетаемых слов. Я вспомнил, когда-то в конце двадцатых годов моего дедушку как бывшего нэпмана сослали, но довольно милостиво сослали, в небольшой городок Данилов. Это примерно сто с лишним километров от Москвы. Вот летом приехали мы туда к нему жить. Я помню, как хозяина нашего дома пасечника Егора Жильцова вызвали в сельсовет. Пришел он из сельсовета хмурый, с лицом неугодливым, прошел по двору, вытащил зачем-

то торчащий в корневище топор, поиграл им, перебросил с руки на руку и потом почему-то ударил им по кадке с дождевою водой. Потом ночью мне примерещился этот залитый соленой водою топор, когда лунный луч побежал из окна по полу и край комода перегородил его, и луч стал как будто топорищем. Но вовсе, поверьте мне, нет, вовсе не это бытовое воспоминание так пронзило меня в этих строчках.

Эти строчки есть образец великой поэзии, той поэзии, за которую всегда испытываешь необыкновенное чувство благодарности к человеку, сказавшему эти слова:

«Лунный луч, как соль на топоре…»

Вот недавно поэт, хм… поэт Евгений Долматовский написал стихи про Париж:

Иду, короткой трубочкой сипя,
Ничем не отличимый от француза.
И только повторяю про себя:
«Я — гражданин Советского Союза».

Ну право, какое ж чувство благодарности можно испытать к человеку, написавшему подобное.

И закончить это свое любительское рассуждение о поэзии и этот свой первый «День Благодарения» мне бы хотелось маленьким стихотворением, которое так и называется: «Благодарение».

Облетают листья в ноябре.
Треснет ветка, оборвется жила.
Но твержу, как прежде на заре:
«Лунный луч, как соль на топоре».
Эк меня на век приворожило!

Что земля сурова и проста,
Что теплы кровавые рогожи,
И о тайне чайного листа,
И о правде свежего холста
Я, быть может, догадался б тоже.

Но когда проснешься на заре,
Вспомнится — и сразу нет покоя:
«Лунный луч, как соль на топоре».
Это ж надо, Господи, такое!

У микрофона Галич…
2 мая 76

Из цикла «Благодарение»

Однажды в поезде, во время своих бесчисленных поездок, в ночном поезде я задал себе вопрос: а как нам, людям, живущим в невольном, в добровольном, а иногда не совсем добровольном изгнании, как нам относиться к той стране, где мы родились? И я подумал: с благодарностью. С благодарностью, потому что власть и Россия — это не одно и то же. Советская Россия — это просто бессмысленное сочетание слов. Мы родились в России, которая дала нам прекраснейший язык, которая подарила нам великолепные, удивительные мелодии, которая дала нам великих мудрецов, писателей, страстотерпцев. Мы должны быть благодарны своей стране, своей родине за воздух, за ее прекрасную природу, за ее прекрасный человеческий облик, удивительный человеческий облик… Мы, те, которые крестились уже в сознательном возрасте, не можем не быть благодарны России и за этот святой день. Мы помним ее, мы стремимся к ней, мы любим ее и мы благодарны ей. И это власть заставила нас уйти в изгнание, а не Россия, не родина, не та страна, которая живет у нас в сердце.

Сегодня я хочу рассказать вам о совсем удивительном благодарении — благодарении за горе. Может ли быть такое? Да вот, очевидно, может быть и такое. Часто приходится слышать, что советская интеллигенция в тридцатые годы растерялась, уступила свои позиции, не протестовала… А мне довелось быть свидетелем одного такого массового протеста русской интеллигенции. Я живой тому свидетель, и об этом мне хочется вам сегодня рассказать.

Было это в феврале тысяча девятьсот тридцать шестого года, страшного года, когда уже начался массовый сталинский террор и когда, казалось бы, протестовать было решительно трудно. В феврале тысяча девятьсот тридцать шестого года вышло постановление партии и правительства о том, что закрывается Московский художественный театр Второй. Это был театр, в основу которого была положена первая студия МХАТа, студия, которой руководил такой великий мастер, как Евгений Багратионович Вахтангов, такие педагоги, как Сахновский, Марджанов и другие; студия, создавшая необыкновенно талантливый и чрезвычайно любимый именно московской интеллигенцией театр — МХАТ Второй. В этой студии расцвел

гений (я не побоюсь сказать этого слова) такого актера, который, кстати, потом остался во время одной из гастрольных поездок за рубеж, — такого актера как Михаил Александрович Чехов. В этом театре была удивительная, прославленная плеяда актеров — Гиацинтова, Берсенев и многие, многие другие… Чебан, Азарин… Нет, всех не перечислишь, это было просто необыкновенное созвездие талантов, и театр этот, пожалуй, даже спорил с любовью москвичей к Малому театру, МХАТу Первому, потому что репертуар его был несколько своеобразен; театр выбирал именно сложные постановки, сложные пьесы для воплощения и был, пожалуй, как я уже сказал, действительно одним из самых любимых у московской интеллигенции театров.

И вот вышло это постановление партии и правительства. Причем постановление было сформулировано таким образом — это, пожалуй, черта всех постановлений партии и правительства, — что никто решительно не мог понять, почему и за что закрывают этот театр, почему его решили расформировать…

Утром было опубликовано постановление, а вечером шел спектакль… По странной иронии судьбы — бывает же в жизни такое — шел в этот вечер уже заранее объявленный спектакль, последний спектакль МХАТа Второго, пьеса французского драматурга Дюваля под названием «Мольба о жизни».

И вот мне, мальчишке-студийцу (я был первогодником-студийцем студии МХАТа, последней студии Константина Сергеевича Станиславского) удалось вместе с несколькими друзьями при помощи наших друзей в судии при Втором МХАТе пробиться в зал на этот последний спектакль.

Я точно помню, совершенно точно помню, какую-то абсолютно странную, необыкновенную атмосферу зрительного зала. Вероятно, актерам было очень трудно играть, потому что все реплики, обычно вызывающие в зале смех, смеха не вызывали. И сидели люди в удивительной тишине, которая иногда прерывалась чьим-нибудь громким всхлипыванием. И в антрактах тоже не болтали как обычно, не смеялись, не разглядывали туалеты друг друга, не толпились у буфета. Ходили молча, как на похоронах…

Взрывом плача были встречены иронические слова одного из главных персонажей пьесы (исполнял эту роль Берсенев), который там по поводу каких-то банковских дел говорит: «Но ведь могли бы они нам дать жить!». Зал ответил громким всхлипом — все как будто задохнулись в этот момент… А потом упал занавес. И тут уже началось нечто совершенно невообразимое. Многотысячная публика (а в зал набилось много, значительно больше зрителей,

чем зал обычно вмещал — люди сидели на полу, на ступеньках, толкались в проходах) стоя рукоплескала актерам. Занавес дали всего один раз. Я думаю, что это было по просьбе актеров, которые просто неловко себя чувствовали, им неловко было стоять на сцене и вместе с залом в голос плакать. Поэтому, несмотря на долгие, очень долгие аплодисменты (я не вру, но пожалуй, продолжались они едва ли не тридцать минут — время для театрального зала и для театра необыкновенное), пока не вышел какой-то человек, некто в сером (кажется, как мне потом сказал учившийся в школе-студии МХАТа и впоследствии перешедший в театр Вахтангова, руководитель театра на Таганке, Юрий Петрович Любимов, мы с ним учились тогда в параллельных классах, что это был администратор театра), вышел на сцену и заунывным, но громким голосом прочитал отрывок из постановления партии и правительства о закрытии театра МХАТа Второго. И после этого опять наступила удивительная тишина, и люди молча, очень тихо, стали выходить из зала.

Удивительно, что не всех присутствовавших в этот день в этом театральном зале потом похватали и отправили в лагеря, ибо подобных демонстраций протеста наши руководители партии и правительства не терпят.

Этой публики, наполнившей зал, этого плача и аплодисментов, этого протеста я не забуду никогда. И это была Россия, московская Россия, московская интеллигенция. И это она в феврале тридцать шестого года выражала свой протест. И благодарность за этот день, благодарность судьбе за то, что мне довелось быть в этот день в зале театра, никогда не оставит меня.

У микрофона Галич…

25 мая 76

Прощальный ужин

Началось все неожиданным утренним звонком тридцать уже с лишком лет тому назад. Мне позвонил мой приятель и каким-то странным, слегка насмешливым голосом сказал: «Слушай, у меня есть свободный билет. Ты не хотел бы пойти сегодня вечером в Дом кино, на концерт Александра Вертинского?». Я тоже чуть-чуть хмыкнул, сказал — на чей концерт? Он ответил: «На Вертинского. Ты же знаешь, он приехал, он в Москве». Я действительно слышал, что Вертинский приехал в Москву, и мне даже говорили, что где-то в очень узком кругу, для актеров Художественного театра, он пел, но что он будет выступать

публично и то, что я смогу его услышать, казалось мне совершенно невероятным. И вот я пошел на концерт Вертинского. Он должен был выступать в Доме кино, в старом Доме кино, который помещался у площади Восстания, там, где теперь Театр киноактера.

Сама обстановка в фойе и в зале была довольно странная. Люди ходили немножко с недоверчивыми улыбками, переглядывались, говорили: «Ну-ну, неужели же это правда?».

Я хотел бы, чтобы это представили те из вас, которые родились в годы войны или после войны и которые не знают, почему так мы странно отнеслись к сообщению о том, что приехал Вертинский.

Долгие годы Александр Вертинский был не то чтобы под запретом, а был человеком из какой-то другой, фантастической жизни. Он эмигрировал в двадцатые годы, и иногда до нас случайно доходили какие-то его пластинки, стертые-престертые.

Мы слушали их, едва разбирая слова… И то, что вот он, легендарный Вертинский, о котором нам рассказывали наши матери, — то, что он сегодня, сейчас выступит и мы его увидим, казалось нам совершенно невероятным. Уже здесь, в кулуарах, рассказывали такую шутку-анекдот, полуанекдот, может быть, это было и правдой, что граф Алексей Николаевич Толстой, пролетарский писатель, устроил в честь приезда Александра Николаевича Вертинского прием. Гостей почему-то долго томили в гостиной, не звали к столу, что-то не было готово у хозяек, и тут один из гостей, поглядевший на собравшееся общество: граф Алексей Николаевич Толстой, граф Игнатьев, митрополит Николай Крутицкий, Александр Николаевич Вертинский, — спросил: «Кого еще ждем?». Грубый голос остроумца Смирнова-Сокольского ответил: «Государя!».

И вот мы пришли в зал. Сцена была пуста, открыт занавес, стоял рояль, а потом на сцену, без всякого предупреждения, вышел высокий человек в сизом фраке, с каким-то чрезвычайно невыразительным, стертым лицом, с лицом, на котором как бы не было вовсе глаз, с такими белесовато-седыми волосами. За ним просеменил маленький аккомпаниатор, сел к роялю. Человек вышел вперед и без всякого объявления, внятно, хотя и не громко, сказал: «В степи молдаванской». Пианист сыграл вступление, и этот человек со стертым, невыразительным лицом произнес первые строчки:

Тихо тянутся сонные дроги
И вздыхая бредут под откос…

И мы увидели великого мастера с удивительно прекрасным лицом, сияющими лукавыми глазами, с такой выразительной пластикой рук и движений, которая дается годами большой работы и которая дарится людям большим их талантом. Можно по-разному оценивать творчество Александра Николаевича Вертинского, но то, что он оставил заметный след в жизни не одного, а нескольких поколений русских людей и в Советском Союзе, и за рубежом, — это вне всякого сомнения. Песни его, казалось бы, никак не соприкасающиеся с жизнью, такие, как «Я знаю, Джим», «Лиловый негр вам подает манто», «Прощальный ужин», — казалось бы, что они там, в Советском Союзе? Что значили для нас эти песни, какое отношение имели к нашей жизни? Я помню стихи Смелякова: «Гражданин Вертинский вертится спокойно, девочки танцуют английский фокстрот; я не понимаю, что это такое, как это такое за душу берет…».

Но он врал, Ярослав Смеляков. Он-то понимал, почему это брало за душу, почему в этой лирической, салонной пронзительности было для нас такое новое ощущение свободы.

Потом, после этого концерта, года два или три спустя, мне довелось познакомиться с Александром Николаевичем Вертинским. Мы даже жили с ним рядом в соседних номерах, в гостинице «Европейская», в Ленинграде месяца полтора. Я работал тогда на киностудии «Ленфильм», делал сценарий, а у Вертинского были концерты. Он выступал в саду «Аквариум». И вот по вечерам, после концерта, он входил со своим стаканом чая. Он неизменно носил свой стакан чая с лимоном, садился и говорил мне: «Ну, давайте. Читайте стихи». Я читал ему Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого, Сельвинского, Ахматову, Хармса. Читал совсем ему уже не известные даже по именам Бориса Корнилова и Павла Васильева, читал все то, что он, долгие годы оторванный от России, не мог знать. Он был не только исполнителем, не только замечательным мастером, он был поразительным слушателем. Сам — актер, певец, поэт, он умел слушать, особенно умел слушать стихи. И вкус у него на стихи был безошибочный. Он мог сфальшивить сам, мог иногда поставить неудачную строчку, мог даже неудачно (если ему было удобней) изменить строчку поэта, на стихи которого писал песню, — но чувствовал он стихи безошибочно. И когда я прочел ему в первый раз стихотворение Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», он заплакал, а потом сказал мне: «Запишите мне, пожалуйста. Запишите мне».

У меня с ним был еще один забавный вечер. Мы решили не сидеть в номере, а пойти поужинать в «Европейскую». Летом ресторан работает на крыше, и туда ходят с удовольствием

ленинградцы. Я не знаю, как сейчас, но в мое время, — я уже говорю, в мое время, как говорят старики, — так вот в мое время это было довольно любимым местом ленинградцев. И вот мы пошли с Александром Николаевичем поужинать. Мы сидели вдвоем за столиком, и вдруг к нам подбежала какая-то необыкновенно восторженная, сильно в годах уже дама, сказала: «Боже мой, Александр Николаевич Вертинский!». Он встал, я, естественно, встал следом за ним (он был человеком чрезвычайно воспитанным и галантным) и сказал: «Ради Бога, прошу вас, садитесь к нам». Она сказала: «Нет, нет, там у нас большая компания, просто я увидела вас. Я была, конечно, на вашем концерте, но я не рискнула зайти к вам за кулисы, а здесь я воспользовалась таким радостным случаем и просто хотела сказать вам, как мы счастливы, что вы вернулись на родину».

Александр Николаевич повторил: «Прошу вас, посидите с нами, хотя бы несколько минут». Она сказала: «Нет, нет, я очень тороплюсь. Я просто хочу, чтоб вы знали, каким счастьем было для нас, когда мы получали пластинки с вашими песнями, с вашими или песнями Лещенко…». Вдруг я увидел, как лицо Александра Николаевича окаменело. Он сказал: «Простите, я не понял вторую фамилию, которую вы только что назвали». Дама повторила: «Лещенко».

«Простите, но я не знаю такого. Среди моих друзей в эмиграции были Бунин, Шаляпин, Рахманинов, Дягилев, Стравинский. У меня не было такого ни знакомого, ни друга по фамилии Лещенко».

Дама отошла. Александр Николаевич был человеком с юмором, но иногда он его терял, когда его творчество воспринималось, как творчество ресторанное — под водочку, под селедочку, под расстегайчик, под пьяные слезы и тоску по родине. Он считал, что делает дело куда как более важное, и думаю, что он был прав.

Песни с комментариями
12 февраля 77
(Текст взят из «Недели» № 43, 1989)

Вальс, посвященный уставу караульной службы

Вот опять наступило и минуло 22 июня — памятный день для людей старшего поколения. День, когда началась для Советского Союза Вторая мировая война.

Удивительно устроена человеческая память. Я почти не помню дней мая 45 года, хотя я был в это время уже в Москве, это

были радостные дни победы, но они как-то смешались у меня в сознании, в моей памяти — праздник, радость, поцелуи на улицах. А вот день, вернее, утро 22 июня 1941 года, хотя это было уже так давно, я помню отчетливо, помню, как будто это произошло только вчера, помню даже запах кофе. Мы встали поздно, сидели, пили кофе, и в это время по радио раздался голос Молотова, сообщавший о том, что началась война…

Война! У Слуцкого есть такие стихи:

А война была четыре года —
Долгая была война.

Да, долгая была война! Со многими людьми довелось мне встретиться за эти четыре года — с самыми разными, с самыми удивительными. И вот что уже после не раз приходилось вспоминать и о чем приходилось размышлять — вы, наверное, не раз слышали такое уже ставшее почти банальным классическое выражение: «я бы пошел с ним в разведку» или «я бы не пошел с ним в разведку». И как много мужественных людей, которых я знал на войне и с которыми казалось бы, можно было пойти в разведку не задумываясь, — как много этих прекрасных, мужественных людей оказались жалкими трусами в гражданской жизни.

И когда их друзей на профсоюзных, на партийных собраниях топтали ногами, исключали из партии, выгоняли с работы, шельмовали, эти самые, ходившие с ними в разведку, трусливо и жалко молчали. Да, есть люди, с которыми можно идти в разведку, но нельзя ходить на профсоюзное собрание. К сожалению — это так.

Но были и другие, были действительно люди героической жизни вроде генерала Петра Григорьевича Григоренко, человека, проявившего мужество и в военное время, и в гражданской жизни. И самое смешное — и самое грустное, но и самое отвратительное, что их — этих людей — топтали, осуждали, разоблачали те, которые всю войну отсиживались на разных теплых местах — дезертиры вроде Кочетова или Аркадия Васильева, которые исключали из союза, исключали из партии фронтовиков.

Вот какие мысли приходят в голову в дни этого очередного памятного юбилея — двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года. Об этом я написал когда-то песню, которая называется «Вальс, посвященный уставу караульной службы».

Первая строчка этой песни, кстати, дала название моему первому сборнику стихов и песен, вышедшему на Западе.

Поколение обреченных!
Как недавно и, ох, как давно,
Мы смешили смешливых девчонок,
На протырку ходили в кино.

Но задул сорок первого ветер —
Вот и стали мы взрослыми вдруг.
И вколачивал шкура-ефрейтор
В нас премудрость науки наук.

О, суконная прелесть устава —
И во сне позабыть не моги,
Что любое движенье направо
Начинается с левой ноги.

А потом в разноцветных нашивках
Принесли мы гвардейскую стать
И женились на разных паршивках,
Чтобы все поскорей наверстать.

И по площади Красной, шалея,
Мы шагали — со славой на «ты», —
Улыбался нам Он с мавзолея,
И охрана бросала цветы.

Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги!..
Позабыв, что движенье направо
Начинается с левой ноги.

Что же вы присмирели, задиры?!
Не такой нам мечтался удел.
Как пошли нас судить дезертиры,
Только пух, так сказать, полетел.

Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Ты, кончай, солдат, нести чепуху:

Что от Волги, мол, дошел до Белграда,
Не искал, мол, ни чинов, ни разживу…
Так чего же ты не помер, как надо?
Как положено тебе по ранжиру?!

Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат —
Ну, не вышло помереть, виноват.
Виноват, что не загнулся от пули,
Пуля-дура не в того угодила,
Это вроде как с наградами в ПУРе,
Вот и пули на меня не хватило!

Все морочишь нас, солдат, стариной?!
Все морочишь нас, солдат, стариной!
Все морочишь нас, солдат, стариной —
Бьешь на жалость, гражданин строевой!
Ни деньжат, мол, ни квартирки отдельной,
Ничего, мол, нет такого в заводе,
И один ты, значит, вроде идейный,
А другие, значит, вроде Володи!

Ох, лютует прокурор-дезертир!
Ох, лютует прокурор-дезертир!
Ох, лютует прокурор-дезертир! —
Припечатает годкам к десяти!

Ах, друзья ж вы мои, дуралеи,—
Снова в грязь непроезжих дорог!
Заколюченные параллели
Преподали нам славный урок:

Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц,
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбку сиятельных лиц.

Пусть опять нас тетешкает слава,
Пусть друзьями назвались враги,—
Помним мы, что движенье направо
Начинается с левой ноги!

У микрофона Галич…
27 июня 77

Поездка в Страсбург

Я только что вернулся из Страсбурга, куда я был приглашен для того, чтобы выступить на собрании молодых христианских демократов, посвященном борьбе за права человека.

Страсбург иногда называют сердцем Европы. Действительно, этот город расположен так, что он как бы находится в самом центре Европы, и поэтому… не случайно именно там заседает Европейский парламент, и в рамках этого Европейского парламента в доме молодежи и состоялось это собрание молодых христианских демократов Европы, Латинской Америки, причем, не только из таких стран, как Аргентина, Боливия, Чили, но также из таких, звучащих для нас чрезвычайно экзотически, стран, как Парагвай и Венесуэла. Были представители острова Мальта, Кипра и многие, многие другие молодые люди, члены Христианской демократической партии, заинтересованные в борьбе за права человека.

Я приехал в Страсбург под вечер, узнал, что этот вечер у участников семинара свободный, и поэтому, естественно, решил воспользоваться этой свободой и отправился осматривать знаменитый Страсбургский собор. Здание это действительно прекрасное, величественное, и мне к тому же еще повезло. Именно сейчас, в‘ июне-июле, в этом соборе устраиваются вечера, которые называются по-английски «light and sound», то есть вечера света и звука.

Вы входите внутрь — необыкновенное, величественное здание, прекрасное здание, — вы садитесь на отполированную скамеечку и… слушаете необыкновенное представление, стереофоническое представление, где вы почти не находите источника звука. Это сделано так технически совершенно, что вы не находите и источника света. Звучат речь, музыка, вопли толпы, пение и… множество веков проходит перед вами. Потому что собор этот — один из древнейших в Европе.

Строительство его было начато ни много, ни мало, как в двенадцатом веке. А потом в музыке, в многоголосом хоре, неожиданно возникает «Марсельеза».

Дело в том, что Роже де Лилль был офицером того полка, который стоял в дни Великой французской революции в Страсбурге, и именно в Страсбурге была создана эта песня, этот гимн.

Но вот что дальше рассказывает вам «голос собора».

Он рассказывает вам о том, как именно в эти дни мэр Страсбурга, первый революционный мэр Страсбурга, якобинец, первым своим декретом, первым своим революционным актом, счел необходимым уничтожить, разрушить собор. И он в этом деле почти преуспел. Были уже разбиты бесценные витражи, были

уже уничтожены десятки статуй, стоявших в соборе, и уже революционно одушевленные граждане собирались приступить к ломке самого собора, как неожиданно одному хитроумцу пришла в голову необыкновенно счастливая мысль. Он пришел к энтузиасту революции, мэру города Страсбурга и сказал ему: «Послушайте, наш собор — один из самых величественных в Европе, и это одно из самых высоких зданий — вот что важно. Так вот, давайте-ка мы сошьем огромный колпак, красный колпак санкюлота и водрузим его на макушку собора, на шпиль собора, с тем, чтобы все вокруг на много десятков километров видели, что Страсбург — это город революции». И вот эта хитроумная мысль спасла собор!

И я подумал, что в истории этой есть много поучительного и примечательного.

Так вот, кстати, в дни Великой французской революции были уничтожены статуи, украшавшие Собор Парижской Богоматери, обезглавлены, потому что невежественные члены Конвента приняли их за изображения французских королей, а это были цари иудейские, предтечи Девы Марии.

Так же на глазах уже нашего поколения, моего поколения, взлетел на воздух Храм Христа Спасителя, и были уничтожены замечательные фрески, написанные Нестеровым.

И вот, когда на следующий день я выступал перед участниками семинара, я сказал о том, что, пожалуй, в нашей борьбе за человеческие права, мы должны думать еще и о борьбе за сохранение всего того прекрасного, что создано человечеством, потому что начинается насилие и унижение человеческих прав с того, что сначала разрушаются, сначала оскверняются творения рук человеческих, а затем уже начинают уничтожать самого человека. С защиты этих духовных ценностей и начинается по существу борьба за права человека, потому что это — наше достояние, это наша человеческая гордость, это создано руками, гением, духом человека.

И недаром насилие, всякое насилие, начинает именно с этого — уничтожая, разрушая наследие, доставшееся ему от его дедов и прадедов.

Я был очень ад, что многие, выступавшие потом, после меня, поддержали мою мысль.

В заключение мне бы хотелось спеть вам одну небольшую песню, она войдет в сборник моих стихов и песен под названием «Когда я вернусь», который, вероятно, выйдет в сентябре или октябре этого года. Песня называется «Слушая Баха», посвящается она Мстиславу Ростроповичу, и выражена в ней, в сущности, вот та самая мысль, о которой я вам только что говорил.

На стене прозвенела гитара,
Зацвели на обоях цветы.
Одиночество Божьего дара —
Как прекрасно И горестно ты!

Есть ли в мире волшебней, чем это
(Всей докуке земной вопреки) —
Одиночество звука и цвета,
И паденья последней строки?

Отправляется небыль в дорогу
И становится былью потом.
Кто же смеет указывать Богу
И заведовать Божьим путем?!

Но к словам, ограненным строкою,
Но к холсту, превращенному в дым, —
Так легко прикоснуться рукою,
И соблазн этот так нестерпим!

И не знают вельможные каты,
Что не всякая близость близка,
И что в храм реминорной токкаты
Недействительны их пропуска!

У микрофона Галич…
19 июля 77

Мы со сцены ушли,
но еще продолжается детство,
наши роли суфлер дочитает,
ухмылку тая,
возвращается вечером ветер
на круги своя,
возвращается боль,
потому что ей некуда деться…

IV
АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ
ГИТАРА ГАЛИЧА

«Король умер! Да здравствует король!» — это в виде эпиграфа я поставил бы к песням Галича или лучше сказать — к театру Галича, потому что его песни, на мой взгляд, это театральное зрелище.

О песнях Галича можно говорить как о песнях сопротивления. Можно говорить об этих песнях и в связи с широкой волной писательского самиздата, в короткий срок захлестнувшего мыслящую Россию. Сам жанр песни, сочиняемой вопреки царящему молчанию, страху и равнодушию, вопреки казенной фразе и казенной музыке, песни, проникающей в любой дом, в любую среду, еще нуждается в осознании. Мы стоим перед фактом, который очевиден каждому из нас, который давно уже сделался нашим достоянием, бытом, и который при всем том не вполне понятен как художественный феномен.

Почему, допустимо спросить, именно гитара проложила путь к миллионному слушателю и овладела обществом? И где здесь кончается фольклор и начинается профессиональное, индивидуальное искусство? И какая связь у этой новообретенной песни с фольклорными истоками? Подобных вопросов может возникнуть и возникает великое множество. И в этом свете Галич со своими песнями лишь одно из подтверждений какой-то общей закономерности, общего процесса, пускай и очень яркое, но все же одно из «явлений», при всей своей избранности, типовое и родовое.

Но возможна и другая постановка вопроса, которой я попытаюсь воспользоваться, другой подход к Галичу, взятому как самостоятельная величина, как замкнутая в себе поэтическая личность вне окружающей его песенной стихии. Этот узко направленный взгляд не умаляет другие авторские индивидуальности, по-своему порой не менее интересные, и не снимает проблемы общеродовых, так сказать, корней у различных по окраске и тональности создателей современной нецензурованной песни. Но он позволяет спросить — чем же особенно талантлив и тороват Галич, и какова персональная тоска-кручина, толкнувшая его, уже зрелого человека, давно пишущего стихи и пьесы, работавшего в кино, к сочинению песен, которые превратились в главное дело его жизни.

Такой «личной причиной», побудившей Галича искать себя в новом жанре, представляется мне не только песенное начало, само по себе проснувшееся и зазвучавшее в нем, но и — что гораздо важнее для выяснений его индивидуальной природы и манеры, — стихия театра, неизбывной театральности. Именно потребность в театре, в своем театре, где он и автор, и исполнитель, и музыкант, и режиссер, и, если угодно, директор, ни от кого не зависящий, повлекла его к песням и во многом отразилась на их характере и строе.

Причем этот родник театральности, забивший в песнях Галича шибче, чем у какого-нибудь другого поэта-песенника нашего времени, проявился в обстоятельствах фатального оскудения театра, в условиях духовного голода, голода в том числе и по театру. Проявился, быть может, как тоскливое воспоминание о том, чем

Россия славилась и красилась когда-то, переживая в начале столетия небывалый разлив театральности в самых ослепительных и разнообразных вариантах. Тогда-то, в начале века и зародилась идея, которая теперь, на фоне зловещего исчезновения театральности, столь удачно ложится на призвание Галича, что, кажется, и была для него специально придумана — театр одного актера.

Теория и практика подобного театра — театра одного актера — в свое время возникла, наверное, от переизбытка сил, от бешеного разбега поисков и открытий, которыми жили театры. К разливанному морю театральности, брызжущей замыслами один смелее другого, прибавилась еще одна идея — самоценного Актера, который бы сам себе стал и театром, и декорацией, и драматургом-импровизатором. Словом, синтез в одном лице. Идея дерзкая и, может быть, не вполне в наши дни осуществимая…

И вдруг она осуществилась, эта странная театральная утопия. Однако не так, как грезилось вначале, не на подъеме, не во славе, а чуть ли не в последнем падении высокого театра, когда почти все вымарано на русской сцене и от былой роскоши валяются вокруг обугленные, похолодевшие головешки. Не от превосходства сил. За неимением средств, — от смерти, от нищеты явился к нам театр одного актера. На вырубленное и выжженное место пришел одинокий поэт, затейник, с обшарпанной гитарой в руках, тяжело переставляя ноги, задыхаясь. Пришел, чтобы восполнить пробел и доказать своим появлением, что ни музыка, ни поэзия, ни сцена еще не иссякли окончательно, покудова жив человек… Галич у нас не продолжение, а возмещение театра.

Внешне он похож на совенка, на большого, взрослого, состарившегося в поисках словесной пищи совенка — по-деревенски — совчик. Поймают такого сов-чика ребятишки, притащут кому-нибудь на дачу — продать, а тот глядит не мигая, думая о чем-то своем, да вдруг как клюнет — мясо учуял. А сам несчастный, нахохленный, погруженный в себя. У зверей, вы знаете, у птиц, у каждой твари своя непостижимая жизнь. Но сова или филин кажутся нам вдвойне таинственными, чудесными существами — и своим ночным происхождением, и мягкой, неслышной повадкой, и каким-то загадочным соединением кошки и птицы в одном облике. В отличие от филина Галич все прекрасно различает не только ночью, но и днем — своими круглыми, бровастыми зрачками. Однако от ночи у него нахохленная сгорбленность и бархатистый полет, от ночи и эта сказочная, трагикомическая маска-лицо, которое так поражает нас в невозмутимой совиной породе. Короче говоря, в натуре Галича, как и в его песнях, я вижу преобладание театрализованных форм восприятия и претворения жизни.

Связь с театром прослеживается в его песнях весьма и весьма далеко. И не потому только, что все его персонажи разговаривают колоритным языком, как это, допустим, мы наблюдаем в пьесах Островского, то есть имеют, говоря научно, ярко выраженную речевую характеристику. И даже не только потому, хотя это очень многое, и к этому еще стоит вернуться, что, окунувшись в песни Галича, мы вдруг почувствовали, что с наших уст сорвана повязка и мы, люди, возросшие в немоте, вдруг заговорили, закудахтали, защебетали на разные голоса, которые уже не унять, которые прекратятся, заглохнут вместе с нами. Одно это можно назвать уже пробуждением и пробованием голоса в современной русской словесности и обращением более-менее монотонной мелодии, которую мы много лет дудели, — в звонкое многоголосие леса, где каждый заливается, что твой соловей, образуя в целом понятие о языковом переполнении и языковом барьере, дарованных нам эпохой…

Но я сейчас не об этом. Позволю поставить чисто формальную задачу — что собой представляет песня Галича, взятая в отдельности, как словесный организм, как особь — в отличие от других производных песенного жанра? На это придется ответить, что, и рассуждая формально, песня Галича чаще всего употребляется миниатюрной, замкнутой в себе драме (трагедии или комедии), где каждая строфа способна служить очередным актом в спектакле, как, например, в «Балладе о прибавочной стоимости» или «Веселом разговоре» про кассиршу. И где — что еще существеннее, — мы постоянно ощущаем

волнение и жар зрительного зала, который смотрит на то, о чем поется перед нами. «И все бухие пролетарии, все тунеядцы и жулье, как на планету в планетарии, глядели, суки, на нее». Зал внутри драмы, зрительный зал, голосующий ногами, угрожающий вторжением в действие, — а ведь это, братцы, про нас. Зал внутри лирического напева в ответ на появление того или этого персонажа на общей сцене, где все мы тоже герои, а не статисты…

И отсюда, — от театра, — в произведениях Галича четкое ощущение жанра, занавеса, задника, кулис, просцениума, суфлерской будки, где сидит Автор, и разыгранных параллельно или последовательно мизансцен, как в «Аве Мария». Отсюда — пространственная форма зрелища, театрального спектакля, внесенная во временное искусство музыки и лирики. Отсюда сама музыка перенимает в исполнении Галича конструктивную функцию так, что его стихи, переведенные в песню, внезапно обретают трехмерную емкость сцены. И это не от того, что музыка так хороша, «под аккомпанемент которой хочется» и прочее. А потому что музыка, более, чем скромная, вводит за собою пространство в лирические композиции Галича и обращает слышимое ухом в видимое глазами — в подмостки, которые средствами той же музыки — перебоями ритма, вторжением нового голоса, подголоска, хора или всем знакомого от рождения мотива («На сопках Манчжурии», допустим) — получает контурность, протяженность, снятую со сцены и пересаженную затем в раздолье истории и географии.

… И потом, под музыку, мы замечаем, стих у Галича начинает пританцовывать, жестикулировать. Стихи не просто поются, то есть растягиваются, как это бывает обыкновенно в романсах, но перебирают ногами, играют всем телом, упражняются и укореняются в ритме и в мимике. Стихи, переведенные в песню, лицедействуют: «И все бухие пролетарии, все тунеядцы и жулье…». От песни остается впечатление панорамы, при всей бытовой суженности подчас происходящего. Так что два маляра, постигшие законы физики, — «раскрутили шарик наоборот», — действуют уже не в пределах котельной, куда они периодически, следуя фабуле, спускаются за идейной поддержкой, но в масштабах земного шара, потерпевшего крушение.

Под лирический звон гитары мы видим — Россию, Сибирь, Колыму, поля под Нарвой, Польшу, Европу…

И здесь же, в этой пространственности (театра) заложено условие композиционной слаженности и завершенности его песенных баллад и рассказов. Песня в чистом первобытном виде, в принципе, не имеет конца — тянется и тянется, воет и воет.

Новеллистическая, фабульная, словесная, наконец, целостность Галича — опять-таки от театра. На театре, знаете, не разгуляетесь — десять метров, пять минут. И это не нарочно придумано, но существует железный закон сцены, чтобы долго не прохлаждались, но, произнеся положенные реплики, в темпе проваливались бы в люк, укрепляя осознание ящика, куда все укладывается, сценической площадки, пускай и разъехавшейся, выражаясь фигурально, на полсвета, но все-таки площадки, пространства, которое только потому мы и воспринимаем, что оно измеряется границами, стенами, столбами, точным началом и безусловным концом инсценированной на подмостках, в трех измерениях, песенки.

И даже рифмы Галича, его страсть выносить в окончание строк физиологически ощутимые рифмы, бьющие, артикуляционно подчеркнутые (школа Маяковского и Пастернака) какое-нибудь редкостное или жаргонное словцо, еще не узаконенное в стихе, которое, однако, защелкивается подобно затвору на этом, еще не испробованном, но уже закушенном, взятом за горло слове, — все это, я полагаю, тоже в какой-то мере идет у него от театральной композиции, от замкнутого строгим законом сценического единства, озабоченного мыслью прежде, чем что-то начать: а чем это завязавшееся, лезущее на рожон начало мы развяжем и захлопнем?

Не могу отделить от сцены, от зацветающих побегов театральности, перешедших в позу и в подвиг одного актера, и ту, всегда трепещущую в песнях Галича струну, которую правильнее всего, вероятно, обозначить словом «ирония». Только прошу не путать это живое, вольное, совпадающее с природой искусства — ив особенности театра — движенце души, подчас горькое, болезненное, именуемое иронией — по Блоку, — с юмористическими сценками, на которые мы здесь наталкиваемся и которые составляют лишь внешний, поверхностный слой. В данном случае под иронией подразумевается чувство тонкое и всеобъемлющее, наподобие эфирного света, о котором однажды было сказано, что неизвестно, где кончается ирония и где начинается небо.

У нас на Руси на иронию периодически ополчаются лица весьма солидные, серьезные, знающие *«как надо!»* («Он врет! Он не знает, как надо!» — Галич), и в чем сосредоточено — тоже очень серьезное — назначение писателя. Но это другая тема, другая статья — ирония искусства и вечный Добролюбов, прошедший, грядущий и не умеющий смеяться.

Песни, о которых речь, песни Галича, — и в этом их прелесть, и соль, и, если угодно, доброта, — как и подобает искусству,

насквозь ироничны. Ироничны не одни комические персонажи вроде Клима Петровича Коломийцева или гражданки Парамоновой. Иронична вся ситуация жизни, в которую они и все мы вместе с ними попали. Ироничны — и поэтому пронзительны — и траурный вальс «На сопках Манчжурии» в интерпретации Галича, и переосмысленные строчки Анны Ахматовой — «Я на твоем пишу черновике», и гибель Харека, и надругательство над Пастернаком… Когда ирония — не какой-нибудь смешной эпизод, но все, все магнитное поле, поворачивающее автора в сторону театра, как стрелку компаса к полюсу.

И в этом поле — в поле иронии — вдруг становится очевидным, что песни, казавшиеся нам вначале, с первого взгляда, зарисовками с натуры, копией действительности (тут тебе и физики, и алкаши, и кассирша, и Анна Ахматова, и зеки, и начальники — словом, полный обзор), — совсем не роман в стихах, отображающий нашу эпоху «от и до», хотя беглое впечатление от этих песен напрашивается на эпические сравнения, но скорее ручей, песенный ручей, перемывающий породы нынешней России, ее почву, песок с тем, чтобы золото нашлось не в качестве заказанного, отмытого старателями золотого фонда, лежащего где-то там за горами, за долами, — но здесь, повсюду, в виде отдельной песчинки, крупицы, а имя крупицам — тьмы и тьмы, легион.

Вы думаете, Клим Петрович Коломийцев, «как мать и как женщина» произносящий по обкомовской подсказке бессмысленные речи и вяжущий колючую проволоку во славу коммунизма для будущих лагерей и запреток, — просто «русский дурак», и ничего не понимает и не горит искрой высшей, всемирной справедливости?! Вот это и есть ирония, переворачивающая зло на добро и — одновременно — в слишком сиятельном, высокопарном добре научающая различать злые скрытые силы.

Не исключено, что от нынешней России, где работают днем с огнем тысячи старателей, специально оплаченных и нацеленных на поиски положительного героя и вообще всего светлого в нашей жизни, в итоге, в истории, которая все смоет, останется горстка песен, по которым ученые попытаются восстановить и представить великую страну. И мы скажем с болью и гордостью: «Вот это мы… Все, что осталось…»

Эти песни, песни Галича и его друзей и соперников, соревнователей по песенному дару, мы не поем. Мы оживаем под эти песни и в этих песнях. Большое счастье, что песня вернулась к нам не в виде музыкального сопровождения, аккомпанемента нашей жизни, но как ее естественное выражение и оправдание,

что песня стала воздухом, которым мы дышим. Песня в этом смысле — не опыт творчества, но сотворение атмосферы, которая принадлежит уже не одному певцу, но народу и обществу. Мы испытываем редкое для современности двадцатого века чувство сопричастности к тому, что поет поэт, словно это не он, а мы сами сочиняем его песни.

При острой индивидуальности Галич сумел погрузить нас в живую купель фольклора, который неизвестно и непонятно откуда берется, а вот подите ж — берется, к общему удивлению, из нас самих, совпадая с нашим дыханием, сердцебиением.

Я как-то спросил у Галича: «Откуда (из «ничего» — подразумевалось) у вас такое поперло?». И он сказал, сам удивляясь: «Да вот неожиданно как-то так, сам не знаю», разводя руками вокруг физиономии, похожей на светлого сыча, — «вот так поперло, поперло и все…»

Тихо вокруг,
Ветер туман унес…
Замолчали шлюхи с алкашами,
Только мухи лапками шуршали…
Стало почему-то очень тихо,
Наступила странная минута —
Непонятное чужое лихо —
Стало общим лихом почему-то!
… На сопках Манчжурии воины спят,
И русских не слышно слез…

Радиоцикл Дневник писателя
Поэзия Александра Галича
22 ноября 75

Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю Свободу,
И — свистите во все свистки!

V
ИНТЕРВЬЮ, ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

ПЕСНЯ, ЖИЗНЬ, БОРЬБА
Интервью Александра Галича специальным корреспондентам «Посева» Г. Рару и А. Югову

Франкфурт, июнь

— Приветствуя вас, вдали от нашей родины, Александр Аркадьевич, испытываешь одновременно и радость, и боль. Ваш выезд за границу был добровольным или вынужденным?

— По этому поводу я могу вам рассказать одну историю. Когда я еще в детстве жил в Севастополе, у меня был приятель, еврейский мальчик по имени — почти из анекдота — Моня. Когда мы с ним залезали на дерево, выходила его мать и кричала: «Моня, или ты сейчас упадешь и сломаешь себе голову, или ты сейчас слезешь, и я набью тебе морду!». Вот такой примерно выбор был предоставлен и мне.

Сейчас сместились понятия добровольного и вынужденного отъезда. Добровольно или вынужденно уехал Синявский? Добровольно или вынужденно уехал Максимов? Конечно, мы «выразили желание» уехать, то есть заявили властям, что больше не можем здесь существовать, что мы несовместимы. Но это было вынужденно.

— Как вы рассматриваете свое нынешнее положение?

— Я не хочу воспринимать географическое перемещение в пространстве как свое крушение и как невозможность продолжать деятельность, которой я занимался в России. Я намерен работать с тем же накалом, с той же самоотдачей, как и на русской земле.

Я думаю, что русские люди привыкнут к этому ощущению, свойственному людям Запада, потому что в связи с географическим перемещением вовсе не кончается судьба человека, не кончается его общение со своим народом. Никому не важно, где живет человек, если он, скажем, американский писатель, французский поэт или немецкий драматург. Он продолжает существовать в той же сфере, в той же языковой среде и т. д. У нас же до сих пор, с проклятых давних времен так получилось, что ты — конченный человек.

Но научно-техническая революция — она сыграла свою роль. Раньше нам понадобилось 30 с лишним лет, чтобы к нам вернулись Булгаков, Бердяев, Федотов, чтобы мы познакомились с последними произведениями Бунина, чтобы мы узнали, что

Ходасевич вовсе не кончился за рубежом, что он написал там лучшую свою книжку «Европейская ночь». Сегодня мы через неделю, а иногда и в тот же день (если только можем настроить радио) знаем все, что происходит на Западе, читаем книги, которые появляются здесь, знакомимся со всем, что здесь происходит. Благодаря ей этот барьер, этот железный занавес, который немножко подкрасили сегодня, сделали в цветочек, чтобы он выглядел, как ситец (но цветочки-то эти нарисованы на железе и железный занавес остался), — он все-таки пробиваем. Технические возможности стали элементом социальным, политическим, эстетическим — каким угодно. Я не знаю и не думаю, что есть еще в мире какая-нибудь другая страна, где бы, скажем, вот этот аппарат, в который я сейчас говорю, имел бы такое невероятное значение. Что же касается радио, то это — не принадлежность интеллигенции. Радио слушают все.

— Вы сейчас направляетесь в Норвегию. Почему вы выбрали именно эту страну?

— Последние полтора года норвежцы проявляли ко мне очень большое внимание — звонили, навещали… Когда я был однажды в этой стране, она мне очень понравилась. Мне нравятся ее культурные, литературные традиции.

И я должен честно признаться, — я просто очень устал. И мне сейчас, вероятно, какой-то период времени было бы трудно жить в странах типа Англии, Франции. Мне сейчас какое-то время нужен покой, который, по-видимому, можно найти в Норвегии.

— На каком виде творчества хотели бы вы сосредоточиться в будущем?

— Каждый творческий человек ощущает потребность в аудитории, ему надо видеть глаза слушателей — людей, которые как-то тебя воспринимают, для которых твои слова что-то значат. Поэтому я счел совершенно бесполезным заниматься драматургией там, в России. Пьеса, положенная в стол, — она так в столе и лежит. Песня, пусть я спел ее двум-трем человекам, начинает звучать, хотя бы благодаря этому самому магнитофону.

Здесь у меня есть возможность попытаться написать два или три драматических произведения, которые я задумал давно. По-прежнему считая главным сочинение стихотворений-песен (потому что прежде всего я считаю себя поэтом), я не окончательно отрицаю возможность того, что я захочу написать мюзикл. У меня есть идея такого комедийного мюзикла, который я попробую написать целиком, — и музыку, и текст. Я об этом думал еще в России. Я хотел написать этот мюзикл, а потом

устраивать вечера «театра одного актера», где я его исполнял бы, пел, играл на рояле, на гитаре.

— Считаете ли вы, что поэзия под музыкальный аккомпанемент как бы обретает самостоятельное значение? В Советском Союзе мы видим длительный и устойчивый интерес самой широкой публики к этой новой форме поэзии.

— Я считаю, что эта форма, хоть и была изобретена до Гутенберга, естественно возродилась в наши дни, когда книгопечатание, к сожалению, занимает в жизни среднего человека значительно меньшее место, чем телевизор, магнитофон или радио. И я думаю, что эта форма не только не будет отмирать, но, наоборот, будет совершенствоваться и развиваться. Потому что, скажем, как только видеофоны (которых сейчас еще очень мало и которые очень дороги) станут предметом массового потребления, они еще больше усилят интерес к этому жанру. Я это знаю просто, — простите, — по своим собственным выступлениям. Я знаю, что эмоциональное воздействие при непосредственном контакте бывает, хотя бы на какие-то доли процента, сильнее, чем от просто прослушанной ленты. Я знаю, что даже эта сухая запись воздействует больше на людей, которые уже слышали меня непосредственно.

Поэтому я не только не думаю, что этот жанр исчерпал себя, наоборот, он по существу еще только начинается. И когда-нибудь, после гутенберговской эпохи, о нас будут вспоминать, как о зачинателях, вернее продолжателях прерванной традиции.

— А с чьими именами вы связываете дальнейшее развитие этого жанра?

— Вы знаете, есть у нас способные люди. Их сейчас пока еще маловато, потому что очень уж велики гонения на этот жанр. Но вместе с тем, я не сомневаюсь, что он будет развиваться. Я знаю множество молодых людей, которые взяли гитары сначала из баловства, а потом начали к этому относиться все серьезнее и серьезнее, понимая, что здесь открывается необыкновенно широкое поле деятельности и необыкновенно соблазнительная возможность мгновенно, сразу отреагировать на события времени, дать им оценку.

Мне сейчас просто трудно назвать имена. Я знаю кое-кого и я в них очень верю, но мне сейчас не хочется эти имена называть.

— Венцов определил ваш песенный жанр как песню-драму, песню-пьесу. Согласны ли вы с таким толкованием?

— Ну, до некоторой степени. Венцов это писал тогда, когда я

в какой-то мере сосредоточил свое внимание на этом участке. Вот, скажем, моя последняя книга. Это почти целиком книга лирических песен. Жанр пьесы, жанр короткого скетча, одноактной драмы — я от него немножко отошел. Но я к нему думаю вернуться. У меня в работе песенный цикл, который я собираюсь вскоре дописать. Этот цикл (в духе песен о Климе Петровиче Коломийцеве) называется «Горестная жизнь и размышления начальника отдела кадров строительно-монтажного управления номер 22 города Москвы».

— Какие ваши любимые писатели, поэты?

— Как профессионал я могу судить о поэзии. Если говорить о послеоктябрьском периоде, для меня всегда существовала троица: Мандельштам, Ахматова и Пастернак. Ближе всех мне, пожалуй, Пастернак, хотя я его люблю меньше остальных — меньше Ахматовой и Мандельштама. Но он мне ближе, потому что он первым пробивался к уличной, бытовой интонации и такому же языку, — к тому, что мне в поэзии наиболее интересно. Ибо поэзия для меня всегда — крик о помощи, и я не понимаю, когда начинают кричать непонятными звуками, потому что никто на помощь не придет, если ты будешь непонятен.

Занимаясь драматургией и кинодраматургией, я бросил совсем это дело в начале шестидесятых годов: ведь поэзия, тем более песня, — наиболее удобная что ли форма для этой вот машины, которая стоит на столе. В такой форме легче немедленно откликнуться, немедленно отреагировать, сделать то, что невозможно ни в прозе, ни в драматургии. Я совершенно сознательно отказался от своей драматургической деятельности, поняв, что только в такой форме я могу до конца и полностью высказать все, что хочу.

Анну Андреевну Ахматову и Осипа Эмильевича Мандельштама я люблю как поэтов не то чтобы больше — в поэзии нет этих степеней, — они для меня в чем-то совершеннее. А Пастернак весь еще в движении. Мне никогда не хочется сделать стихотворение лучше, чем Ахматова или Мандельштам, а у Пастернака мне порой хочется переделать: вот эти строчки мне не нравятся, вот это я сделал бы иначе.

— Что вы думаете о современных советских поэтах?

— Лично я больше всего люблю и считаю чрезвычайно талантливым Олега Чухонцева. По-моему, это звезда первой величины, хотя он сейчас немножко и скис.

Вообще сейчас очень трудный период для людей между 30 и 40 годами. Именно в это время человек обзаводится семьей,

рождаются первые дети. И становится страшно, потому что ясно, — не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или ты становишься по другую сторону. То половинчатое существование, которое мы еще вели в начале шестидесятых годов, — сегодня невозможно. Пришла пора открытого голоса, поднятого забрала. Повторяю, людям, которые только что обзавелись семьей, у которых родились первые дети, им очень страшно перешагнуть черту и они пытаются половинчатостью подменить необходимость ответа на вопрос: «С кем вы, мастера культуры?». Сейчас я очень мало могу назвать имен. Среди них, пожалуй, первый — по дарованию, по необыкновенной пронзительной точности языка — Олег Чухонцев.

В связи с этим хочу сказать: одна из самых больших бед нынешнего времени — это разрушение русского языка. Вот едешь по городу, видишь эти кумачовые надписи, которые не означают решительно ничего, которые написаны «блочным», бессмысленным языком: «Народ и партия едины», «Ознаменуем определяющий год пятилетки»… Зачем висят эти надписи, какую информацию они несут? Слова теряют смысл. И когда читаешь газетные стихотворения, приходишь в отчаяние именно из-за полного отсутствия смысла. Слово — оружие, которое дано нам Господом, в котором есть суть и назначение поэзии, — «глаголом жечь сердца людей». А какой же там глагол, там глаголов нету! Есть только вот «ознаменуем», — но какой же это глагол?..

— Как может настоящий художник вынужденно молчать длительное время? Что делать таким писателям, которых не публикуют? К примеру, Домброскому, Грековой, Владимову — я называю первые пришедшие на память имена.

— Как правило, это кончается трагически. Одни из них еще продолжают писать «в стол», но, понимаете, писать «в стол» — для художника, для истинного писателя — это невыносимо мучительно. Для этого нужно обладать либо совершенно исключительным дарованием, как Михаил Афанасьевич Булгаков, либо отличаться предельным равнодушием. Людей типа Домбровского, типа Грековой такое вынужденное молчание ломает. Оно приводит к какому-то ощущению опустошенности, усталости необыкновенной. Потому что упомянутые вами писатели, по-моему, первоклассные. И я очень люблю Грекову — это человек мне очень близкий, дорогой, и я вижу, в каком она ужасном состоянии последние несколько лет. Я очень люблю Юрия Домбровского — это тоже мой большой друг — и я вижу, в каком он чудовищном состоянии. На здоровье это тоже

отражается, и, скажем, покойный Борис Балтер — он мог как-то существовать, что-то писал «в стол», но все равно это мучительно, это все равно, что жить с зажатым ртом. Не обязательно, чтобы вертухай зажимал рот, — если ты сам себе зажал рот, все равно не будет хватать воздуха.

— Вы не были жителем Архипелага ГУЛаг?

— Нет, сам не был.

Если мы не примем формулы, что мир дал трещину и трещина прошла через сердце поэта, — знаменитую формулу Гейне, — то вообще поэзии не существует. Мне показалось поэтому бесконечно оскорбительным, что когда меня исключали, Арбузов кричал: «Галич же не сидел, он мародер, он присваивает себе чужие биографии, ну, — вот если бы он сидел!..». Им понятна формула «Мне отмщение и Аз воздам», а положить «живот свой за други своя» — такая формула совершенно непонятна современному советскому обывателю.

Ну, если говорить откровенно, то у меня был двоюродный брат. Он был мне ближе родных, он меня воспитывал. Ему я обязан тем, что выучился читать, чем-то стал интересоваться в жизни… Он 24 года отбыл *там,* о нем я не забывал никогда и бесконечно страдал за него. Когда я пишу в «Облаках», что «недаром я 20 лет…», я пишу от имени Виктора, который был для меня больше, чем близким человеком.

— В западной печати обычно употребляется термин «советские диссиденты». Насколько точно он отражает суть дела?

— Мне не очень нравится утвердившаяся в западной прессе, да и в Москве тоже (в общем она и пришла-то из Москвы), формула «диссиденты» или «инакомыслящие». Вернее это было бы назвать резистансом, своего рода сопротивлением. Это ближе к истине.

Поскольку термин «диссиденты» пришел к вам из Москвы, то до известной степени мы виноваты в его существовании. Я могу совершенно твердо сказать, что существует у нас огромное количество людей, которые выполняют свою 8-часовую работу как советские служащие. А потом вечерами или в свободное время они слушают радио или магнитофон с нашими песнями, читают перепечатки книг, которые приходят с Запада, и это, если так можно выразиться, — молчаливые инакомыслящие. Молчаливый резистанс — в этом есть уже что-то более понятное, справедливое, хотя бы по отношению к этим десяткам и сотням тысяч. Возлагать на них особенные надежды, пожалуй, не следует. Но учитывать вот этот хинтергрунд, этот фон, — да собственно

говоря, для кого же я и работал? Кто же приходил на эти вечера, когда в маленькой комнатке набивалось до ста человек? А последнее время я особенно часто выступал — 2–3 раза в неделю. И не только перед так называемыми инакомыслящими: это были именно представители молчаливого резистанса.

— Что вы думаете о нынешней проблеме «славянофилы — западники»?

— По своему интеллектуальному складу я, наверно, скорее присоединился бы к западникам. Просто потому, что западники оставляют большую свободу выбора в своих концепциях.

Но мне кажется, что нельзя недооценивать и значения, условно говоря, славянофильского движения. Если народ почти больше полустолетия разрушал свои традиции, его призыв к возвращению к этим традициям чрезвычайно важен. В этом, мне кажется, огромное и очень существенное значение в жизни советского русского общества тех, кого мы условно относим к славянофилам. Но некоторые из них в запальчивости перегибают палку и упорно обходят вопросы религии.

Я говорю о таких, как Солоухин (Осипов, скажем, их не обходит). Но все попытки обойти эти вопросы совершенно беспочвенны, потому что на одних петушках и крашеных яйцах, как чисто условных аксессуарах русского быта, далеко не уедешь. Ведь и они тоже — производное от религии, от православия.

— Существует ли тяга к Церкви среди молодого поколения?

— Безусловно. Многие молодые люди начинают понимать, что без религии, без православия, заложившего основы какого-то нравственного идеала, русского что ли (если можно говорить о нравственном идеале именно русского человека), без Церкви, без религиозного воспитания, без религиозных знаний, любые попытки «просто» повторить традиции, которые будут граничить со Стрельней, — совершенно бесполезны и бессмысленны.

— Левый фланг тоже на полпути?

— Откровенно говоря, кроме братьев Медведевых, я вообще уже не знаю никого, кто, во всяком случае в Советском Союзе, искренне считал бы себя марксистом и ленинцем. Во всяком случае, среди моих знакомых таких не попадалось. Это я вам должен сказать совершенно откровенно.

Позиция братьев Медведевых вообще вызывает изумление. Потому что по юридическим законам есть такое понятие — кому это выгодно? Никто до конца им не верит. Трудно сейчас верить разумным людям, обладающим той полнотой информации,

которой обладают они, и между тем продолжающим упорно закрывать глаза на вещи совершенно самоочевидные.

Стало быть, каждый в меру своей испорченности предполагает какие-то тайные задачи, которые они ставят перед собой. Знаете, я человек не слишком испорченный и не предполагаю никаких зловредных умыслов, даже самого элементарного — возвращения Жореса на родину. Но создается странное впечатление: вот идет человек, идет совершенно нормально, а на каком-то этапе, по непонятной причине, вдруг начинает спотыкаться. Прямо какая-то черная магия…

— В одном из своих выступлений Максимов как-то сказал, что свято место не бывает пусто, — значит, на смену нам идут другие. Согласны ли вы с этим или считаете, что существует все же какой-то разрыв между «сменами»?

— Такой временный разрыв может быть, но в принципе я совершенно согласен с Владимиром Емельяновичем. Я думаю, что неизбежно придут новые люди, которые продолжат наше дело, хотя и мы — во всяком случае, та часть поколения, которая оказалась в эмиграции, — вовсе не собираемся складывать оружие.

Это то, что никак не хочет признать Союз писателей. Казалось бы, исключением Максимова, Войновича и Чуковской вся программа последних лет была исчерпана, но едва только успели пишущие машинки прострекотать и отстукать протоколы об исключении Войновича и Чуковской, как сразу же появились новые имена — Корналова, Богатырева, включившихся в борьбу за права, за истину.

И я думаю — я говорил уже об этом, — что это неизбежная особенность поколения, уже немножко пожившего, что-то испытавшего, выстрадавшего, пришедшего к осознанию невозможности лжи. Вот почему сопротивление начинается не очень рано — ближе к сорока годам. Не случайно мы, старшее поколение — все однолетки: и Солженицын, и Сахаров, и я. Максимову, Корнилову, Войновичу — по 42–43 года. Они недавно включились в ту же деятельность. И это неизбежно, потому что много соблазнов в современном мире, даже в советском мире, абсолютно уродливом, но тем сильнее соблазны там. Тут на Западе нет классического советского «достать». Мы все не знаем слова «купить». Одна моя знакомая женщина с грустью сказала: «Вот я умру, и никто не узнает, какой у меня был вкус», потому что она никогда не могла купить того, что хотела; она могла купить то, что достала. И вот, я уже говорил об этом, к тридцати годам (когда человек заводит семью, когда рождаются первые

дети) происходит как бы становление. Тебя окружают соблазны — 180 построить кооперативную квартиру, купить машину. И сразу же приходят на ум классические наши обскурантские формулы, вроде «плетью обуха не перешибешь», «почему мне больше всех надо?». И для того чтобы прийти к осознанию, что существует только один путь, путь борьбы, путь сопротивления лжи, — для этого нужно что-то испытать, это надо выстрадать. Вот почему так быстро ломаются, скажем, поколения двадцатилетних, не считая нескольких героических фигур, вроде Буковского, Алика Гинзбурга, Андрея Амальрика; многие же в общем довольно быстро сломались — ушли в пьянство, в какое-то ничтожное существование.

Чтобы именно в советских условиях, в условиях невероятного давления, в условиях невероятной закрытости и лишенности информации прийти к этому сознанию абсолютно осмысленно, а не только эмоционально, — нужен какой-то определенный возрастной срок, период испытаний, период унижений. Причем унижения — не обязательно «государственные». Унижение может быть «личное» (это может переживать один); внешне оно может даже казаться не унижением вовсе, а успехами. Но сам ты внутренне понимаешь, что это унижает тебя, человека искусства, человека, который хочет говорить с людьми, а не с начальством.

(«Посев», август 1974)

КУЛЬТУРА И БОРЬБА ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА БЕСЕДА С А. ГАЛИЧЕМ

— Как-то, Александр Аркадьевич, Вы сказали, что борьба за права человека, в сущности, является борьбой за духовную культуру. Не могли бы Вы уточнить Вашу мысль для читателей «Русской Мысли»?

— С удовольствием. Летом мне довелось побывать в Страсбурге. Пригласили меня молодые христианские демократы на их семинар. Первый вечер оказался свободным, и я пошел в знаменитый Страсбургский собор и попал на спектакль «Звук и свет». Программа шла на немецком языке, а я его знаю. Из рассказа об истории собора, я узнал, что во время Великой французской революции, мэр города, ярый революционер, издал приказ разрушить собор, и его начали разрушать, когда какой-то хитроумец сказал мэру, что их собор — одно из самых высоких зданий в Европе и поэтому его лучше не разрушать, а сшить большой якобинский колпак и надеть на шпиль собора, чтобы все, за многие километры, смогли увидеть, что Страсбург — город Революции.

Мне показалась эта история, пусть даже выдуманная, очень показательной, ведь 'я принадлежу к тому поколению, на глазах у которого уничтожали знаменитые церкви, как, например Иверскую часовню Божией Матери, возле которой я жил, Параскеву-Пятницу, Собор на площади Пушкина. На моих глазах был взорван Храм Христа Спасителя, и я видел, как безвозвратно гибли бесценные нестеровские фрески…

Говорю я об этом не случайно. Однажды Зинаида Алексеевна Шаховская прочла мне две строки — кажется Берберовой — «Мы не в изгнаньи, мы в пос-ланьи», которые я часто повторяю. Сначала мне казалось, что «посланье» — слишком ответственное слово. Но потом, постепенно я убедился, что это так: Россия, Дух русского народа, как бы послали нас в иные страны, с единственной целью — хранить нашу духовную культуру, нести ее в мир, беречь и, если хватит сил, приумножать. Наша обязанность сохранить бесценное наследие, доставшееся нам от отцов и дедов. Потому, что я совершенно убежден, что когда во всем мире так много говорят о правах человека, о борьбе за права человека, то защита духовных ценностей как раз и является частью этой борьбы. Ведь наступление на права человека и начинается с наступления на его духовный мир, мир духовных ценностей, с наступления на них и с разрушения их.

Там, где попирается право человека на наследие его отцов и дедов, там, следом за этим, приходят ложь, насилие, смерть.

САМОЕ ЧУДОВИЩНОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРИНЕС КОММУНИЗМ

— И большевики от этого никогда не отказывались. Не провозгласили ли они, придя к власти, что все что было до них — предистория, тогда как история, настоящая история, начинается с Октября?

— Это заявление — одно из того, чудовищного и уродливого, что принес России коммунизм. И когда во Франции и в Италии, где я был уже много раз, выступая по всей стране, я вижу на прекрасных зданиях Парижа, Рима, Флоренции, Венеции… намазанные чьими-то варварскими руками серпы и молоты, то сразу же приходит мысль — вот с этого и начинается наступление на права человека! Тем более, что я убежден, что руки, рисовавшие эти знаки, никогда ни серпа, ни молота не держали и даже не знают, как с ними обращаться.

И вот, я повторяю, все мы, оказавшиеся в эмиграции, т. е. действительно в изгнании, вне различия возраста и того времени, когда и как мы попали на чужую землю, все мы, в сущности, едины и наша главная задача, общая для всех нас, заключается в том, чтобы сохранить и приумножить то духовное наследие, которое досталось нам от отцов, дедов и прадедов.

— А что в этом направлении делает «Континент»?

— Я был очень обрадован, прочтя в «Р. М.» обращение Солженицына относительно семейных архивов, потому что еще до него мы решили ввести в журнале отдел, который так и будет называться «Из семейных архивов». Мы убеждены, что в неведомых нам шкатулках и сундуках лежат письма, записки, воспоминания, могущие явиться совершенно бесценным историческим материалом. И возвращаясь к этому нашему наследию, мы прежде всего сумеем научиться быть едиными и уважать друг друга.

НАДО ЗАБЫТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПЕРВУЮ, ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ ЭМИГРАЦИИ

— Но разве в «Русской Мысли» мы не преследуем ту же цель? Мы всегда старались избегать всего, что может разделять, в частности, разделять так называемые «три» эмиграции. Эти раздоры лишь радуют наших врагов.

— Безусловно. И я с удовольствием прочел в вашей газете заметку Серафима Милорадовича об этом вопросе. И дело вовсе не в том, будем ли мы радовать КГБ или Кремль, но в том, что мы

ведь делаем одно большое общее дело, и чем больше мы будем друг другу помогать и уважать то, что каждый из нас делает, тем прочнее будет наше дело. Это не значит, что нельзя судить, но только судить надо уважительно, без пренебрежения, судить — не осуждая, судить — советуя.

Мне, например, не всегда нравится, что делают да>ке мои ближайшие друзья, и если я их сужу, то сужу, как близкий друг. И это чувство близости должно быть обязательным для всех нас.

Что там говорить, надо честно признать, что все-таки, как ни верти, а эмиграция — состояние для человека неестественное, особенно для литераторов.

— И тем более русских: там — несвобода и цензура, здесь — свобода и чужая страна, главное, чужой язык. Для музыкантов, художников, скульпторов — иначе. Для писателей и поэтов — сложно и трудно.

— Особенно для поэтов. Когда мы по-русски читаем, скажем Томаса Манна, то даже в переводе мы понимаем, что это великий писатель. А вот когда мы по-русски читаем Рильке в переводе Пастернака, мы видим, что это замечательный перевод, но ведь он сделан Пастернаком, и мы можем лишь верить, что Рильке большой поэт, так как мы не можем проверить, так ли он впрямь значителен и велик.

Недавно вышли в ИМКА-Пресс неизданные письма Цветаевой. Письма трагические. По всей вероятности, она была очень трудным человеком, неуживчивым, со сложным характером. Но она была Цветаевой. И когда она пишет, что сказала людям «выталкивайте меня в Советскую Россию», то невозможно без щемящей боли читать эти строки.

— Да, эмиграция вытолкнула Цветаеву в Советскую Россию, но Советская Россия толкнула ее на смерть.

— Да, это так. Мы жалуемся, что Запад не хочет делать выводов из нашего горестного опыта. Но давайте научимся, прежде всего, и сами делать выводы из наших прошлых ошибок, потому что это наши общие ошибки. Вот почему мне хотелось, чтобы были навсегда забыты разделения: первая эмиграция, вторая эмиграция, третья эмиграция. Есть просто эмиграция — русские люди, писатели, художники, скульпторы, журналисты и просто не смогшие принять советского строя. Эмиграция едина, и так мы должны ее рассматривать, и соответственно, друг к другу относиться. Мы едины.

Ведь придет все же такая пора, когда мы вернемся. Кстати, на днях выйдет книга моих стихов, которая так и будет называться

«Когда я вернусь». Я верю, что мы должны когда-нибудь вернуться. Быть может не мы, физически, но следующие за нами, вернутся. И здесь я всегда вспоминаю прекрасную и грустную строку Лермонтова. Она завершает его стихотворение: «Но в мире новом друг друга они не узнали».

НЕ ВСЯ РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СКЛОНЯЕТ ГОЛОВУ ПЕРЕД НАСИЛИЕМ

— Но узнаем ли мы или они ту Россию, в которую вернемся?

— Не дай нам Бог не узнать! Не дай Бог, чтобы и она не узнала нас. Ведь произошли необратимые перемены. Они происходят в любом обществе, в любой стране. Но тот факт, что Советский Союз живет такой уродливой, такой неправдоподобной жизнью, что жизненные условия там столь фантастичны и алогичны, противоречат всем человеческим нормам, то и произошедшие там перемены по-настоящему огромны. Но будем надеяться, что они все-таки преодолимы.

Недавно, здесь, в Париже — в Москве об этом можно было только мечтать — мне удалось прочесть почти полный комплект журнала «Новый град», в котором писали замечательные русские философы Федотов,

Ильин, Бердяев, Булгаков, Вышеславцев, Франк… Я с большим волнением его читал, и все думал — а это ведь 32–33 годы! Но уже тогда все они предупреждали об опасности, о которой мы продолжаем кричать и сегодня. Так что, не задаваясь космическими задачами, ограничимся хотя бы тем, с чего я начал: будем беречь наше духовное наследие и одновременно беречь и уважать друг друга. И позабудем искусственное деление на первую, вторую и третью эмиграции. Единственно, что имеет значение, это знать, насколько далеко зашла болезнь там, какие там произошли процессы, не отпускать, как говорится, руку с пульса нашей родины.

Вот, мне вспоминается, как в 36 году я присутствовал на последнем спектакле Второго МХАТ-а. Это был самый любимый интеллигенцией театр, пожалуй, даже больше, чем МХАТ Первый. Утром вышло постановление об его закрытии, а вечером шел последний спектакль. По фарсовому стечению обстоятельств в этот вечер шла пьеса французского драматурга Дюваля «Мольба о жизни». Это комедия. Но она шла под глухое рыдание зрителей. И когда спектакль закончился, произошла настоящая демонстрация: в течение почти пятнадцати минут зрители, стоя, аплодировали и не хотели расходиться. А ведь это были страшные годы — арестов, чисток и процессов. А зал пятнадцать минут стоял, провожал в небытие свой любимый театр. Это был, по-своему, акт

мужества, выход на площадь. И мне бывает обидно, когда я слышу презрительные слова о том, что, дескать, русская интеллигенция всегда покорно склоняла головы перед насилием.

ЗАДАЧА ЭМИГРАЦИИ — СПАСАТЬ КУЛЬТУРУ

— Ну, а каковы Ваши личные планы? Что пишете, что подготовляете, где собираетесь выступать?

— Сейчас жду выхода сборника «Когда вернусь» и уже жалею, т. к. за это время кое-что успел написать, что хотел бы включить, но поздно. Начал писать большую прозаическую вещь, но она перебилась другой работой, тоже прозаической, которая будет называться, как одна моя песня «Еще раз о черте». Пишу ее с поспешностью и с большим увлечением, к Новому Году надеюсь закончить.

Кроме того у меня очень много выступлений. Снова собираюсь в Италию, буду принимать участие, как свидетель, в «Сахаровском слушании» и как раз намереваюсь говорить о наступлении на духовную культуру, как о начале наступления на права человека. Затем у меня будет большой сольный концерт на Венецианском биенале 3 декабря. Потом поездки в Германию, даже быть может в Австралию.

— А как же во Франции? Концерт в Париже 19 ноября вы отменилииз-за болезни.

— Я очень об этом сожалею, тем более, что мне хотелось бы почаще выступать во Франции и, тем более, в Париже. Итальянские выступления убедили меня, что с хорошим переводчиком можно выступать и перед ина-коговорящей публикой. Хотя ту радость, которую испытываешь при контакте с русскими, ни с чем не сравнить. Так было в Остии перед новыми эмигрантами, ждавшими отправки в разные страны; было так и в Милане, где набился полный зал русских. Поэтому я очень, очень тоскую по русской аудитории.

— А как прошли ваши концерты в Израиле? Я как раз был в Иерусалиме, когда увидел там афиши с объявлением об одном из них. Но мне уже надо было возвращаться в Париж.

— Первая поездка (в отличие от второй, не слишком удачной по целому ряду независимых от меня причин) была фантастической, настоящим триумфом. Таких огромных концертных залов я вообще нигде не видел. В Тель-Авиве, например, зал на 2.800 мест. Я выступал в нем два раза подряд, и все места были проданы. Так же было и в Иерусалиме, в Театроне, где зал на 2.000 человек не смог всех вместить, и многим

пришлось сидеть на ступеньках, за кулисами, на сцене. Повторилось это и в Хайфе. Но это не удивительно. В Израиле ведь очень много не только говорящих по-русски людей, но и людей, недавно выехавших из СССР, которым понятны многие детали, все то, что ускользает от тех, кто уже давно оторван от родной земли.

И здесь, в заключение, мне хочется повторить то, с чего я начал: наша обязанность, наш долг — ежедневно и ежечасно помнить о том, что все мы находимся в эмиграции не для того, чтобы спасаться, а для того, чтобы спасать — нашу культуру, нашу веру, наше стремление к правде и добру — спасать их от лжи, насилия и человеческой разобщенности.

(Беседу вел К. Померанцев)

(«Русская мысль», № 3179, 1977)

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ»
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОСКОВСКИМ ПИСАТЕЛЯМ И КИНЕМАТОГРАФИСТАМ

Уважаемые товарищи! 29 декабря 71 года Московский секретариат СП, действуя от вашего имени, исключил меня из членов Союза писателей. Через месяц секретариат СП РСФСР единогласно подтвердил это исключение.

Еще некоторое время спустя я был исключен из Литфонда и (заглазно) из Союза работников кинематографии.

Сразу же после первого исключения были остановлены все начатые мои работы в кино и на телевидении, расторгнуты договора.

Из фильмов, уже снятых при моем участии, — вычеркнута моя фамилия. Таким образом, вполне еще, как принято говорить в юридических документах, «дееспособный» литератор, я осужден на литературную смерть, на молчание.

Разумеется, у меня есть выход. Года эдак через два-три, написав без договора (еще бы!) некое «выдающееся» произведение, добиться того, чтобы его кто-то прочел и где-то одобрили, приняли к постановке или печати, и тогда я снова войду в дубовый зал (комнату № 8) Союза писателей, и меня встретят с улыбками товарищи Васильев, Алексеев, Грибачев, Лесючевский, и сам товарищ Медников (может быть?) протянет мне руку, а потом меня восстановят в моих литературных правах.

Но беда в том, что вышеупомянутые товарищи и я по-разному смотрим на литературное творчество и на понятие «выдающееся» произведение, и, таким образом, боюсь, сцена в дубовом зале относится к области чистой научной фантастики.

Меня исключили втихомолку, исподтишка. Ни писатели, ни кинематографисты официально не были поставлены (и не поставлены до сих пор) об этом в известность. Потому-то я и пишу это письмо. Пишу его, чтобы прекратить слухи, сплетни, туманные советы и соболезнования.

Меня исключили за мои песни, которые я не скрывал, которые пел открыто, пока в 1968 году тот же секретариат СП не попросил меня перестать выступать публично.

Многие из вас слышали эти песни.

За что же меня лишили возможности работать?

Предлоги: выход книжки моих песен в некоем эмигрантском

издании, без моего ведома и согласия, с искаженными текстами и перевранной биографией (факт, который почему-то особенно ставил мне в вину драматург Арбузов), упоминание моего имени заграничными радиостанциями; какой-то мифический протокол о задержании милицией в некоем городке некоего молодого человека, который обменивал или продавал некие мои пленки, которые он якобы сам, с моего голоса, записывал в некоем доме, — все это, разумеется, и есть только предлоги.

Предлогом является и мое номинальное избрание в члены-корреспонденты советского Комитета защиты прав человека.

Ни в уставе Союза советских писателей (старом и новом), ни в уставе СРК — нигде не сказано, что советский литератор не имеет права принимать участие в работе организации, ставящей себе задачей легальную помощь советским органам правосудия и закона.

Я писал свои песни не из злопыхательства, не из желания выдать белое за черное, не из стремления угодить кому-то на Западе.

Я говорил о том, что болит у всех и у каждого, здесь, в нашей стране, говорил открыто и резко.

Что же мне теперь делать?

В романе «Иметь и не иметь» умирающий Гарри Морган говорит: «Человек один ни черта не может».

И все-таки я думаю, что человек, даже один, кое-что может, пока он жив. Хотя бы продолжать делать свое дело.

Я жив. У меня отняты мои литературные права, но остались обязанности — сочинять свои песни и петь их.

С уважением Александр ГАЛИЧ (1972)

(«Вечерняя Москва», 17 сентября 1988)

КРАЙНЯЯ ОПАСНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой и ратифицированной правительством Советского Союза, сказано: «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая собственную, и возвращаться в свою страну». А мне в этом праве отказано уже дважды. «По идеологическим мотивам». Как наказание за то, что я пытался по ряду вопросов высказывать свою точку зрения, отличную от официальной.

Вот уже два с лишним года, после моего исключения из Союза писателей и Союза кинематографистов, я лишен других профессиональных прав: права увидеть свое произведение опубликованным, права заключать договор с театром, киностудией или издательством, права выступать публично. Когда показываются фильмы, поставленные в прошлые годы по моим сценариям, чья-то скрытая рука вырезает из титров мою фамилию. Я не только неприкасаемый, я еще и непроизносимый. Только на всякого рода закрытых собраниях, куда мне доступ заказан, мое имя иногда упоминается с добавлением оскорбительных и бранных эпитетов. Мне оставлено единственное право: смириться со своим полнейшим бесправием, признать, что в 54 года жизнь моя, в сущности, кончена, получать мою инвалидную пенсию в размере 60 рублей в месяц и молчать. И еще ждать.

В моем положении с человеком может случиться все что угодно. Ввиду крайней опасности этого положения я вынужден обратиться за помощью к вам, Международному комитету прав человека, и через вас — к писателям, музыкантам, деятелям театра и кино, ко всем тем, кто, вероятно, по наивности продолжает верить в то, что человек имеет право высказывать собственное мнение, имеет право на свободу совести и слова, право покидать по желанию свою страну и возвращаться в нее.

Александр ГАЛИЧ

Постскриптум. Я уже написал это письмо, когда узнал о том, что писателю Владимиру Максимову, человеку редкого таланта и мужества, тоже отказано в поездке. Таким образом, власть имущие высказали не двусмысленное намерение лишить нас не только профессиональных, но и гражданских прав. Мы (теперь я уже могу сказать *мы)* обращаемся за помощью к готовым оказать

ее каждому, кто в ней нуждается. А что если нам сообща вдруг удастся доказать правительствам стран, широковещательно объявившим о подписании Декларации, что слова о свободе — не пустые слова, и что вера в права человека не так уж наивна.

А. Г.

Москва, 3 февраля Г974 («Посев», март 1974)

МЫ СЧИТАЕМ ЕГО СВОИМ ОБРАЩЕНИЕ В ЗАЩИТУ М. МИХАЙЛОВА

Арестован Михаил Михайлов, выдающийся публицист и философ. Это его третий арест. А он уже не молод и достаточно перенес лишений. Но, самое главное, нам трудно представить себе, какое преступление перед законом мог он совершить, кроме того, что имел свое мнение и высказывал его. Зато мы убеждены, что Михайлов принадлежит к числу тех людей, о которых можно сказать: будь *их сегодня* больше в мире, и судьба человечества не внушала бы тревоги!

Михаил Михайлов принимал горячее заочное участие в демократическом движении нашей страны, родины его родителей. И мы считаем его как бы своим, и подозреваем, что он и пострадал-то больше всего из-за этой глубокой заинтересованности в судьбах России, вызывая особое неудовольствие московских руководителей. Для их умилостивления, подозреваем мы, его и арестовали югославские власти после недавнего осуждения просоветской группы. Для равновесия!

Но как бы там ни было, а судьба Михайлова не может не волновать. Ему угрожает большой срок заключения, и его положение особенно трагично тем, что он арестован в стране, которая многими считается либеральной, не привлекает к себе особого внимания и не имеет заметного и гонимого демократического движения и, соответственно, демократической эмиграции, которая могла бы настойчиво бороться за его освобождение. И в то же время он арестован в стране, где нет независимого суда и прессы, где отсутствуют на деле демократические гарантии личности и не допускается, преследуется заметное инакомыслие.

Мы обращаемся к мировой общественности, ко всем, кто заинтересован в защите прав человека, где бы они ни нарушались, обращаемся с просьбой, с призывом сделать все возможное, чтобы облегчить судьбу Михайлова.

А. ГАЛИЧ, В. МАКСИМОВ, В. НЕКРАСОВ, А. СИНЯВСКИЙ

(«Посев», февраль 1975) 192

ЕЩЕ ОДНА ПИСАТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА

В России столько человек сидит в «отказе», что их трагические судьбы уже перестали волновать общественное мнение Запада. Между тем каждый человек нуждается в помощи, ибо только за свое намерение обрести свободу, обрести свою настоящую Родину он рискует жизнью.

Как правило, любому «отказнику» официальные власти инкриминируют какой-нибудь проступок. Но вот совершенно исключительный случай. Феликс Соломонович Кандель (Камов) известен, в Советском Союзе как писатель-сатирик и кинодраматург. Вместе со своими соавторами он создал мультипликационную серию кинофильмов под названием «Ну, погоди!». Эти веселые, невинные приключения Волка и Зайца имели в России совершенно фантастический успех. Мультфильмы серии «Ну, погоди!» одинаково любят и дети, и взрослые. Изображение камовских героев можно встретить на открытках, значках, спичечных этикетках. Про Волка и Зайца (вот истинная популярность) поются песни. Каждую мультипликационную передачу по центральному телевидению открывают герои «Ну, погоди!», а по большим праздникам телевидение показывает все серии подряд. Волк и Заяц стали в СССР такими же национальными любимцами, как и Микки-Маус в США.

Чем же ответило Феликсу Канделю (Камову) «благодарное отечество»? Как только три года тому назад он подал заявление на выезд в Израиль, его имя сразу сняли с титров (популярнейшая серия отныне не имеет авторов), а сам Феликс Кандель (Камов) был лишен всяческих возможностей зарабатывать на хлеб для себя и своей семьи. Здоровье писателя подорвано двумя тяжелыми голодовками протестов. Но и голодовки не помогли. В который раз Канделю (Камову) отказывают в праве на выезд под тем смехотворным предлогом, что, дескать, 16 лет (!!!) тому назад он работал на закрытом предприятии. Поверить невозможно, что рядовой инженер знал какие-то секреты, которые не устарели за 16 лет. Такая мотивировка отказа в нормальном обществе может вызвать только веселый смех. Однако Феликс Камов живет в ненормальном обществе. Когда человеку угрожает физическая расправа, ему не до веселья.

Неужели гебешным генералам, в чьих руках находится жизнь Феликса Канделя (Камова), не стыдно перед своими маленькими детьми и внуками? Впрочем, обращаться с такими наивными вопросами к власть имущим деятелям — пустая трата времени. А пока что над головой Феликса Канделя (Камова) сгущаются тучи:

его уже дважды вызывали к следователю прокуратуры. (Интересно, что там требовали от писателя: дать показания по «делу» Волка и Зайца? Дескать, и они зачислены в число империалистических агентов?).

Мы поднимаем свой голос в защиту популярного писателя и драматурга, который своим творчеством принес столько радости детям нашей страны. Мы призываем Власти выполнять международные соглашения о правах человека, соглашения, под которыми стоит подпись правительства Советского Союза.

А. ГАЛИЧ, А. ГЛАДИЛИН, Н. КОРЖАВИН, В. МАКСИМОВ, В. МАРАМЗИН, В. НЕКРАСОВ, Е. ТЕРНОВСКИЙ.

(«Русская мысль», 8 июля 1976)

ПАМЯТИ ДРУГА

Погиб писатель Константин Богатырев[3]. Именно погиб, а не умер, почти не приходя в сознание, смертельно избитый платными исполнителями наших властей предержащих.

Нам нет надобности вновь пересказывать его биографию. Она достаточно хорошо известна всем, кто внимательно следит за развитием современной литературы и общественной мысли в России. Голос Богатырева мы слышали постоянно, когда в нашей стране попиралась справедливость. Его подпись стояла под всеми сколько-нибудь значительными протестами против преследований и репрессий, где бы-и с кем бы они у нас ни происходили. Письмо, написанное им в защиту Владимира Войновича, сделалось публицистическим явлением нынешнего самиздата и получило значительный резонанс во всем мире.

Именно этого ему и не простили. И напрасно теперь в соответствующих советских инстанциях разыгрывают комедию усиленного розыска преступников: у Константина Богатырева, при его удивительной деликатности, не было личных врагов, а «безвестные» преступники даже не пытались инсценировать попытку ограбления.

Смерть этого замечательного человека и честного писателя является еще одним красноречивым доказательством того, что усиленно распространяемый кое-кем на Западе миф о либерализации и демократизации существующего в Советском Союзе режима носит откровенно демагогический и провокационный характер.

Смерть Константина Богатырева является также еще одним напоминанием о том, что судьба наших единомышленников и товарищей, оставшихся на родине, находится в постоянной и повседневной опасности, и что наш долг ни на минуту не забывать об этом.

А. ГАЛИЧ, А. ГЛАДИЛИН, Н. КОРЖАВИН, В. МАКСИМОВ, В. МАРАМЗИН, В. НЕКРАСОВ.

(«Посев», июль 1976)

НЕМНОГО О ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОЯЖЕРСТВЕ

Очередной визит советского художника Ильи Глазунова на Запад не мог бы вызвать сам по себе какой-либо реакции с нашей стороны: почти полтора десятка лет этот идеологический вояжер от живописи свободно разъезжает по всем частям света, поставляя желающим стилизованные портреты «а ля рюс» различных кинодив, политических и общественных деятелей, а также их, жаждущих популярности, достопочтенных жен.

Но вот совсем недавно западногерманский журнал «Шпигель» со свойственной ему оперативностью поведал миру о смертельной и требующей немедленной судебной сатисфакции обиде, нанесенной Глазунову американским публицистом Джоном Барроном. В своей популярной теперь во всем мире книге «КГБ» последний посвятил знаменитому живописцу пол-абзаца, где посильно объяснил созданную в нашей стране специально для Глазунова «свободу творчества и передвижения».

Не вдаваясь в правовую оценку этого объяснения (в тоталитарной стране, где государственные органы не подлежат контролю общественного мнения, доказать подобного рода факты практически невозможно), мы позволим себе напомнить лишь несколько событий из весьма бурной творческой биографии вышеозначенного художника.

1. Конец пятидесятых. Разгром сборника «Литературная Москва». Кампания против Владимира Дудин-цева. Первые гонения на художественный авангард. И, наконец, «дело Пастернака», со всеми вытекающими отсюда трагическими последствиями. А никому неведомый выпускник Ленинградского института им. Репина при Академии художеств СССР, приехав в Москву, почти мгновенно получает квартиру на проспекте Мира и одну из лучших в столице профессиональных мастерских на проспекте Кутузовском. И все это происходит во времена жесточайшего жилищного кризиса тех лет и подозрительного отношения к творческой интеллигенции вообще.

2. Шестидесятые. Новая «охота за ведьмами» в среде творческой интеллигенции. Разгром выставки в Манеже. Первые атаки на Александра Солженицына. Современные авангардисты, загнанные в окраинные подвалы, вынуждены наниматься в грузчики и сторожа, чтобы хоть как-то обеспечить свое существование. А Илья Глазунов, даже не будучи еще членом пасомого властями Союза художников, устраивает

представительный вернисаж в государственном выставочном зале, в том самом Манеже, откуда до этого выкинули работы самых значительных представителей его, Глазунова, собственного поколения.

3. Разгар семидесятых. Открытая травля Сахарова и Солженицына. Насильственное выдворение последнего из пределов страны. Узаконенное изгнание за рубеж целого ряда писателей и художников. Раздавленные бульдозерами выставки нонконформистов. Спровоцированный выезд из страны скульптора Эрнста Неизвестного, получившего перед тем бесчисленное количество отказов в заграничных поездках по приглашению зарубежных друзей и организаций, в том числе и коммунистических.

Арест и долголетнее заключение многих замечательных общественных деятелей современной России, и среди них главного редактора «Вече» — самиздатского журнала национального направления Владимира Осипова, за идейного сподвижника и материального покровителя которого безбоязненно выдает себя сегодня на Западе наш герой.

Не стесняясь обстоятельствами, Глазунов тут же пишет ко дню рождения Леонида Брежнева портрет последнего (задумайтесь же, наконец, уважамые, кому же все-таки в нашей стране доступна подобная «честь»!), опубликованный вскоре в советском официозе — журнале «Огонек» (№ 52, 1975 г.), а затем выезжает в очередной свободный вояж в ФРГ для свободной портретной деятельности и устройства столь же свободных вернисажей.

Кстати сказать, Глазунов никогда не скрывал, а порою даже громогласно прокламировал свое «национальное» исповедание, но — странное дело! — одного, т. е Владимира Осипова, за это самое исповедание отправляют на Восток на восемь с половиной лет (восемь с половиной!) строгой изоляции, с последующей многолетней ссылкой, а другого на Запад, в комфортабельную творческую поездку. Не больше, не меньше!

Нас не удивляет позиция некоторых общественных и политических деятелей Европы, спешащих увековечить свой драгоценный образ для благодарных потомков, тем более, что иным из них не впервой общаться и быть на дружеской ноге с подобного рода личностями, но нас крайне удивит, если демократический суд вообще примет к рассмотрению какой-либо иск, вчиненный гражданину демократической страны официальным представителем антидемократического государства, в котором законодательная, исполнительная и судебная власть не поддается какой-либо объективной проверке

или общественному контролю.

В противном случае не только любой публицист, в данной ситуации Джон Баррон, но и каждый из нас становится беззащитным объектом для политического и материального шантажа со стороны тоталитарных органов.

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ, АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН, ЭДУАРД ЗЕЛЕНИН, АЛЕКСАНДР ЗЛОТНИК, НАУМ КОРЖАВИН, ВЛАДИМИР МАКСИМОВ, ВЛАДИМИР МАРАМЗИН, ВИКТОР НЕКРАСОВ, МИХАИЛ ШЕМЯКИН

(«Русская мысль», 4 июля 1976)

ОТ «КОНТИНЕНТА»

Борьба за Права Человека во всем мире важнейшее, если не первостепенное дело наших дней. Размах, который приобретает сейчас эта борьба в России и Восточной Европе, возлагает на нас, вольных или невольных изгнанников из тоталитарного мира здесь, на Западе, особую ответственность. Каждый наш шаг, каждое слово, каждая акция должны быть тщательно нами взвешены и обсуждены. Примером такого серьезного подхода к делу может служить только что состоявшаяся встреча Владимира Буковского с президентом США Картером, имевшая место по обоюдному соглашению и инициативе.

Разумеется, Запад и, в частности, Франция могли бы сделать в деле Прав Человека и вытекающих из этого Хельсинских соглашений куда больше, но мы, тем не менее, не вправе игнорировать вклад, сделанный ими в этом направлении.

Со всей ответственностью мы должны засвидетельствовать, что с первого дня нашего пребывания во Франции мы постоянно ощущаем поддержку фарнцуз-ских государственных, общественных и частных организаций, а также почти всего спектра здешней печати, за исключением разве что «Юманите», выступающей по проблемам русских и восточноевропейских политзаключенных лишь время от времени, причем нехотя и двусмысленно.

Совсем недавно, к примеру, президент Республики принял практически высланного из Советского Союза великого музыканта современности Мстислава Ростроповича и имел с ним продолжительную беседу именно по затронутым выше проблемам. Большинство из нас было принято также членами его кабинета для согласования совместных усилий, направленных на соблюдение Прав Человека в нашей стране. Многие политэмигранты из СССР и Восточной Европы встречают во французской официальной среде сочувствие и поддержку.

Несомненно, что положение дел в этой области на Западе далеко от совершенства, но коренное улучшение положения зависит не от крикливых рекламных шоу и взаимных нападок, а от слаженной общей и повседневной борьбы всех сил доброй воли за Права и Достоинство Человека во всем мире.

А. ГАЛИЧ, А. ГЛАДИЛИН, Н. ГОРБАНЕВСКАЯ, В. ДЕЛОНЕ, В. МАКСИМОВ, В. НЕКРАСОВ, М. ШЕМЯКИН

(«Русская мысль», 17 марта 1977)

СВОБОДУ АНТОНУ ПЕЙПЕ!

Телеграфные агентства сообщили: бельгийский гражданин, фламандец Антон Пейпе приговорен в Советском Союзе к 5 годам лишения свободы с содержанием в лагере строгого режима.

За что? Так как, по утверждениям советской пропаганды, по заявлениям многочисленных официальных представителей СССР во всевозможных международных комитетах и форумах, в Советском Союзе не существует заключенных по политическим мотивам, за убеждения, за образ мыслей не судят, то надо полагать, что Антон Пейпе — обыкновенный уголовный преступник. Такой же, как Владимир Буковский, как биолог Сергей Ковалев, как физик, член-корреспондент Академии Наук Армянской ССР Юрий Орлов, как психиатор Семен Глузман и многие, многие другие.

Как стало известно, следственные органы и представители КГБ предлагали Антону Пейпе свободу за «раскаяние», но он от этой «милости» отказался. Он свою «вину» не признал. Он считал (и справедливо считал!), что распространение листовок с призывом соблюдать условия Хельсинского соглашения, с требованием уважать элементарные человеческие права — неподсудны никакому суду. Оказывается, он ошибался. Всякое слово правды, всякое выражение сочувствия к униженным и оскорбленным — советское правосудие («самое справедливое в мире!») рассматривает как преступление.

Люди доброй воли! Мы должны требовать освобождения Антона Пейпе — и не просто освобождения! Хватит радоваться тому, что под давлением мирового общественного мнения или в погоне за некой политической или экономической выгодой советские власти, под шумок, без всяких объяснений, выпускают на волю того или иного заключенного, — мы обязаны требовать не только освобождения Антона Пейпе, но и, наконец, объяснения: почему, по какому праву государство, подписавшее Декларацию прав человека и Хельсинское соглашение, в своей практике непрерывно нарушает их и в то же время громче всех кричит: «Держите вора!»

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ, ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.

«Посев».

(«Русская мысль», 27 апреля 1977)

«Эрика» берет четыре копии,
Вот и Все!…А этого достаточно!

VI
СТИХОТВОРЕНИЯ

МАРШ МАРОДЕРОВ

Впали в сон победители.
И выставили дозоры.
Но спать и дозорным хочется, а прочее —
трын-трава!
И тогда в покоренный город вступаем мы —
мародеры,
И мы диктуем условия
И предъявляем права!

Слушайте марш мародеров!
(Скрип сапогов по гравию)
Славьте нас, мародеров,
И веселую нашу армию!
Слава! Слава! Слава нам!

Спешат уцелевшие жители, как мыши, забиться
в норы.
Девки рядятся старухами
И ждут благодатной тьмы.
Но нас они не обманут,
Потому что мы — мародеры,
И покуда спят победители — хозяева в городе
мы!

Слушайте марш мародеров!..
Двери срывайте с петель,
Тащите ковры и шторы,
Все пригодится — и денежки, и выпивка, и
жратва!
Ах, до чего же весело гуляем мы, мародеры!
Ах, до чего же веселые придумываем слова!

Слушайте марш мародеров!..

Сладко спят победители.
Им снятся златые горы,
Им снится знамя Победы, рябое от рваных дыр,
А нам и поспать-то некогда,
Потому что мы — мародеры,
Но, спятив с ума от страха,
Нам рукоплещет мир!

Слушайте марш мародеров!..

И это еще не главное.
Главного мы не видели.
Будет утро и солнце в праздничных облаках.
Горнист протрубит побудку.
Сон стряхнут победители
И увидят, что знамя Победы не у них, а у нас
в руках!
Слушайте марш… марш…
И тут уж нечего спорить.
Пустая забава — споры.
Когда улягутся страсти и развеется бранный
дым.
Историки разберутся — кто из нас мародеры,
А уж мы-то их просветим!

Слушайте марш победителей!

Играют оркестры марши над пропастью плац-
парада.
Девки машут цветами.
Строй нерушим и прям.
И стало быть — все в порядке!
И стало быть, все как надо —
Вам, мародерам, пуля!
А девки и марши — нам!

Слушайте, марш победителей!
(Скрип сапогов по гравию)
Славьте нас, победителей,
И великую нашу армию!
Слава! Слава! Слава нам!..

(1974)

Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ

Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю Свободу,
И — свистите во все свистки!

И лопается терпенье,
И тысячи три рубак
Вострят, словно финки, перья.
Спускают с цепи собак.

Брест и Унгены заперты,
Дозоры и там, и тут,
И все меня ждут на Западе,
Но только напрасно ждут!

Я выбираю Свободу,
Но не из боя, а в бой,
Я выбираю свободу
Быть просто самим собой.

И это моя Свобода,
Нужны ли слова ясней?!
И это моя забота —
Как мне поладить с ней.

Но слаще, чем ваши байки,
Мне гордость моей беды,
Свобода казенной пайки,
Свобода глотка воды.

Я выбираю Свободу,
Я пью с нею ныне на «ты».
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты.

Где вновь огородной тяпкой
Над всходами пляшет кнут.
Где пулею или тряпкой
Однажды мне рот заткнут.

Но славно звенит дорога,

И каждый приют, как храм.
А пуля весит немного —
Не больше, чем восемь грамм.

Я выбираю Свободу,—
Пускай груба и ряба,
А вы, валяйте, по капле
«Выдавливайте раба»!

По капле и есть по капле —
Пользительно и хитро,
По капле — это ни Капри,
А нам — подставляй ведро!

А нам — подавай корыто,
И встанем во всей красе!
Не тайно, не шито-крыто,
А чтоб любовались все!

Я выбираю Свободу,
И знаете, я не один!
И мне говорит «свобода»:
«Ну, что ж, говорит, одевайтесь
И пройдемте-ка, гражданин».

(1971)

О ПОЛЬЗЕ УДАРЕНИЙ

Ударение, ударение,
Будь для слова, как удобрение.
Будь рудою из слова добытой,
Чтоб свобода не стала Свободой.

(1968)

ЛЕВЫЙ МАРШ

— Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

Нет, еще не кончены войны,
Голос чести еще невнятен,
И на свете, наверно, вольно
Дышат йоги, и то навряд ли!

Наши малые войны были
Ежедневными чудесами —
В мутном облаке книжной пыли
Государственных предписаний.

— Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

Помнишь, сонные понятые
Встали — к притолоке головой,
Как мечтающие о тыле
Рядовые с передовой?!

Помнишь, вспоротая перина,
В зимней комнате — летний снег?!
Молча шел, не держась за перила,
Обесчещенный человек.

— Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

И не пули, не штык, не камень —
Нас терзала иная боль!
Мы — бессрочными штрафниками —
Начинали свой малый бой!

По детдомам, как по штрафбатам —
Что ни сделаем — все вина!
Под запрятанным шла штандартом
Необъявленная война.

— Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

Наши малые войны были
Рукопашными зла и чести,
В том проклятом военном быте,
О котором не скажешь в песне,

Сколько раз нам ломали ребра,
Этот — помер, а тот — ослеп,
Но дороже, чем ребра — вобла,
И соленый мякинный хлеб.

— Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

И не странно ли, братья серые,
Что по-вольчи мы, на лету,
Рвали горло — за милосердие,
Били морду — за доброту!

И ничто нам не мило, кроме
Поля боя при лунном свете!
Говорили — до первой крови,
Оказалось — до самой смерти…

— Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

(1964–1966)

КУМАЧОВЫЙ ВАЛЬС

Ну, давай, убежим в мелколесье
Подмосковной условной глуши,
Где в колодце воды — хоть залейся
И порою весь день ни души!

Там отлипнет язык от гортани,
И не страшно, а просто смешно,
Что калитка, по-птичьи картавя,
Дребезжать заставляет окно.

Там не страшно, что хрустнула ветка
По утру под чужим каблуком.
Что с того?!
Это ж просто соседка
Принесла нам кувшин с молоком.

Но, увы, — но и здесь — над платформой,
Над антеннами сгорбленных дач,
Над березовой рощей покорной
Торжествует все тот же кумач!

Он таращит метровые буквы,
Он вопит и качает права…
Только буквы, расчёртовы куклы,
Не хотят сочетаться в слова.
— Миру — мир!
— Мыру — мыр!
— Муре — мура!
— Мира — миг, мира — миф, в мире — мер…
И вникает в бессмыслицу хмуро
Участковый милиционер.

Удостоенный важной задачей,
Он — и ночью, и утром, и днем —
Наблюдает за некою дачей,
За калиткой, крыльцом и окном.
Может, так куролесят с достатка,
Может, контра и полный блядежь?!..

Кумачовый блюститель порядка,
Для кого ты порядок блюдешь?!

И себя выдавая за знамя,
Но древко наклонив, как копье,
Маскировочной сетью над нами
Кумачовое реет тряпье!

Так неужто и с берега Леты
Мы увидим, как в звездный простор
Поплывут кумачовые ленты:
— Мира — миф!
— Мира — миг!
— Миру — мор!

(1973)

КАНАРЕЙКА

Кто разводит безгласных рыбок,
Кто, забавник, свистит в свирельку,
А я поеду на птичий рынок
И куплю себе канарейку.

Все полета отвалю, не гривну,
Привезу ее, суку, на дом,
Обучу канарейку Гимну,
Благо слов никаких не надо.

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка весело поет…

Канареечка, канарейка,
Птица малая, вроде мухи.
А кому судьба — карамелька,
А кому она — одни муки.

Не в Сарапуле и не в Жиздре,
Жил в Москве я, в столице мира.
А что видел я в этой жизни,
Окромя веревки, да мыла?

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет…

Но сносил я полсотни тапок,
Был загубленным, был спасенным.
А мне, глупому, лучше б в табор, —
Лошадей воровать по селам.

Прохиндей, шарлатан, провидец,
Я б в веселый час под забором,
Я б на головы всех правительств
Положил бы свой х… с прибором.

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет…

(1972)

ВСЕ НЕ ВОВРЕМЯ

В. Шаламову

А ты стучи, стучи, а тебе Бог простит,
А начальнички тебе, Леха, срок скостят!
А за Окой сейчас, небось, коростель свистит,
А у нас на Тайшете ветра свистят.
А месяц май уже, все снега белы,
А вертухаевы на снегу следы,
А что полнормы, тьфу, это полбеды,
А что песню спел — полторы беды!

А над Окой летят гуси-лебеди,
А за Окой свистит коростель,
А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!

А первый зэка, он с Севастополя,
Он там, черт чудной, Херсонес копал,
Он копал, чумак, что ни поподя,
И на полный срок в лагеря попал.
И жену его, и сынка его,
И старуху-мать, чтоб молчала, блядь!
Чтобы знали все, что закаяно
Нашу родину сподниза копать!

А в Крыму теплынь, в море сельди,
И миндаль, небось, подоспел,
А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!

А второй зэка — это лично я,
Я без мами жил, и без папи жил,
Моя б жизнь была преотличная,
Да я в шухере стукаря пришил!
А мне сперва вышка, а я в раскаянье,
А уж в лагере — корешей в навал,
И на кой я пес при Лёхе-Каине
Чумаку подпел «Интернационал»?!

А в караулке пьют с рафинадом чай,
И вертухай идет — весь сопрел.

Ему скучно, чай, и несподручно, чай,
Нас в обед вести на расстрел!

(1964–1966)

ГОРЕСТНАЯ ОДА СЧАСТЛИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Петру Григоренко

Когда хлестали молнии ковчег,
Воскликнул Ной, предупреждая страхи:
«Не бойтесь, я счастливый человек,
Я человек, родившийся в рубахе!»

Родившийся в рубахе человек!
Мудрейшие, почтеннейшие лица
С тех самых пор, уже который век,
Напрасно ищут этого счастливца.

Который век все нет его и нет,
Лишь горемыки прут без перебоя,
И горячат умы, и застят свет,
А Ной наврал, как видно, с перепоя!

И стал он утешеньем для калек,
И стал героем сказочных забавок, —
Родившийся в рубашке человек,
Мечта горластых повивальных бабок!

А я гляжу в окно на грязный снег,
На очередь к табачному киоску
И вижу, как счастливый человек
Стоит и разминает папироску.

Он брал Берлин! Он, правда, брал Берлин!
И врал про это скучно и нелепо,
И вышибал со злости клином клин,
И шифер с базы угонял «налево».

Вот он выходит в стужу из кино,
И сам не зная про свою особость,
Мальчонке покупает «эскимо»
И лезет в переполненный автобус.

Он водку пил и пил одеколон,
Он песни пел и женщин брал нахрапом!

А сколько он повкалывал кайлом!
А сколько он протопал по этапам!

И сух был хлеб его, и прост ночлег!
Но все народы перед ним — во прахе.
Вот он стоит — счастливый человек,
Родившийся в смирительной рубахе!

(1971)

СТАРАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬСОК

Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань,
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль.
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере… к этакой матери.
Но поскольку молчание — золото,
То и мы, безусловно, старатели.

Промолчи — попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.

Промолчи — попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть — в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

(1963)

РАССКАЗ, КОТОРЫЙ Я УСЛЫШАЛ В ПРИВОКЗАЛЬНОМ ШАЛМАНЕ

Нам сосиски и горчицу —
Остальное при себе,
В жизни может все случиться,
Может «А», а может «Б».

Можно жизнь прожить в покое,
Можно быть всегда в пути…
Но такое, но такое! —
Это ж — Господи, прости!

Дядя Леша, бог рыбачий,
Выпей, скушай бутерброд,
Помяни мои удачи
В тот апрель о прошлый год.

В том апреле, как в купели,
Голубели невода,
А потом — отголубели,
Задубели в холода!

Но когда из той купели
Мы тянули невода,
Так в апреле преуспели,
Как, порою, за года!

Что нам Репина палитра,
Что нам Пушкина стихи:
Мы на брата — по два литра,
По три порции ухи!

И айда за той фартовой,
Закусивши удила,
За той самой, за которой
Три деревни, два села!

Что ни вечер — «Кукарача»!
Что ни утро, то аврал!
Но случилась незадача —
Я документ потерял!

И пошел я к Львовой Клавке:
— Будем, Клавка, выручать,
Оформляй мне, Клавка справки,
Шлепай круглую печать!

Значит, имя, год рожденья,
Званье, член КПСС.
Ну, а дальше — наважденье,
Вроде вдруг попутал бес.

В состоянии помятом
Говорю для шутки ей:
— Ты давай, мол, в пункте пятом
Напиши, что я — еврей!

Посмеялись и забыли,
Крутим дальше колесо.
Нам все это, вроде пыли,
Но совсем не вроде пыли
Дело это для ОСО!

Вот прошел законный отпуск,
Начинается мотня,
Первым делом, сразу «допуск»
Отбирают у меня.

И зовет меня Особый,
Начинает разговор:
— Значит, вот какой особый,
Прямо скажем, хитрожопый
Оказался ты, Егор!

Значит все мы, кровь на рыле,
Топай к светлому концу!
Ты же будешь в Израиле
Жрать, подлец, свою мацу!

Мы стоим за дело мира,
Мы готовимся к войне!
Ты же хочешь, как Шапиро,
Прохлаждаться в стороне!

Вот зачем ты, вроде вора,

Что желает — вон из пут,
Званье русского майора
Променял на «пятый пункт».

Я ему, с тоской в желудке,
Отвечаю, еле жив:
— Это ж я за ради шутки,
На хрена мне Тель-Авив!

Как он гаркнет: — Я не лапоть!
Поищи-ка дурачков!
Ты же явно хочешь драпать!
Это ж видно без очков!

Если ж кто того не видит,
Растолкуем в час-другой,
Нет, любезный, так не выйдет,
Так не будет, дорогой!

Мы тебя — не то что взгреем,
Мы тебя сотрем в утиль!
Нет, не зря ты стал евреем!
А затем ты стал евреем,
Чтобы смыться в Израиль!

И пошло тут братцы-други,
Хоть ложись и в голос вой!..
Я теперь живу в Калуге,
Беспартийный рядовой!

Мне теперь одна дорога,
Мне другого нет пути:
— Где тут, братцы, синагога?!
Подскажите, как пройти!

(1967–1969)

БАЛЛАДА О ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Призрак бродит по Европе,
призрак коммунизма…

Я научность марксистскую пестовал,
Даже точками в строчке не брезговал.
Запятым по пятам, а не дуриком
Изучал «Капитал» с «Анти-Дюрингом».
Не стесняясь мужским своим признаком,
Наряжался на праздники «призраком»,
И повсюду, где устно, где письменно,
Утверждал я, что все это истинно.

От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих,
И пусть я псих, а кто не псих?.. А вы — не псих?

Но недавно случилась история —
Я купил радиолу «Эстония»,
И в свободный часок на полчасика
Я прилег позабавиться классикой.
Ну гремела та самая опера,
Где Кармен свово бросила опера,
И когда откричал Эскамилиё,
Вдруг свое я услышал фамилиё.

Ну, черт-те что, ну, черт-те что, ну, черт-те что!
Кому смешно, мне не смешно… А вам — смешно?

Гражданин, мол, такой-то и далее —
Померла у вас тетка в Фингалии,
И по делу той тети Калерии
Ожидают вас в Инюрколлегии.
Ох, и вскинулся я прямо на дыбы,
Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы!
Больно тема какая-то склизкая,
Не марксистская, ох, не марксистская!

Ну, прямо срам, ну, прямо срам, ну, стыд и срам!
А я-то сам почти что зам!.. А вы — не зам?

Ну, промаялся ночь, как в холере, я.
Подвела меня, падла, Калерия!

Ну, жена тоже плачет, печалится —
Культ — не культ, а чего не случается?!
Ну, бельишко в портфель, щетку, мыльницу,
Если сразу возьмут, чтоб не мыкаться.
Ну, являюсь, дрожу, аж по потрохи,
А они меня чуть что не под руки.

И смех и шум, и смех и шум, и смех и шум!
А я стою — и ни бум-бум… А вы — бум-бум?!

Первым делом у нас — совещание,
Зачитали мне вслух завещание —
Мол, такая-то, имя и отчество,
В трезвой памяти, все честью по чести,
Завещаю, мол, землю и фабрику
Не супругу, засранцу и бабнику,
А родной мой племянник Володичка
Пусть владеет всем тем на здоровьичко!

Вот это да, вот это да, вот это да!
Выходит так, что мне туда!.. А вам — куда?

Ну, являюсь на службу я в пятницу,
Посылаю начальство я в задницу,
Мол, привет, по добру, по спокойненьку,
Ваши сто — мне как насморк покойнику!
Пью субботу я, пью воскресение,
Чуть посплю — и опять в окосение.
Пью за родину, и не за родину,
и за вечную память за тетину.

Ну пью и пью, а после счет, а после счет,
А мне б не счет, а мне б еще… И вам — еще?!

В общем, я за усопшую тетеньку
Пропил с книжки последнюю сотенку,
А как встал, так друзья мои бражники,
Прямо все, как один за бумажники:
— Дорогой ты наш бархатный, саржевый,
Ты не брезговай, Вова, одалживай!
Мол, сочетмся когда-нибудь дружбою,
Мол, пришлешь нам, что будет ненужное.

Ну, если так, то гран-мерси, то гран-мерси,

А я за это вам — джерси… И вам — джерси.

Наодалживал, в общем, до тыщи я,
Я ж отдам, слава Богу, не нищий я,
А уж с тыщи-то рад расстараться я —
И пошла ходуном ресторация…
С контрабаса на галстук — басовую!
Не «столичную» пьем, а «особую»,
И какие-то две с перманентиком
Все назвать норовят меня Эдиком.

Гуляем день, гуляем ночь, и снова ночь,
А я не прочь, и вы не прочь… И все — не прочь.

С воскресенья и до воскресения
Шло у нас вот такое веселие,
А очухался чуть к понедельнику,
Сел глядеть передачу по телеку,
Сообщает мне дикторша новости
Про успехи в космической области,

А потом: «Передаем сообщения из-за границы.
Революция в Фингалии! Первый декрет
народной
власти о национализации земель, фабрик,
заводов и всех прочих промышленных
предприятий.
Народы Советского Союза приветствуют
и поздравляют братский народ Фингалии
со славной победой!».

Я гляжу на экран, как на рвотное,
То есть, как это так, все народное?!
— Это ж наше, — кричу, — с тетей Калею,
Я ж за этим собрался в Фингалию!
Негодяи, бандиты, нахалы вы!
Это все, — я кричу, — штучки Карловы!
… Ох, нет на свете печальнее повести,
Чем об этой прибавочной стоимости!

А я ж ее — от сих до сих, от сих до сих!
И вот теперь я полный псих!.. А кто — не псих?!

(1964–1966)

ОТРЫВОК ИЗ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕПОРТАЖА О ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ МЕЖДУ СБОРНЫМИ КОМАНДАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СОВЕТСКОГО СОЮЗА

… Итак, судья Бидо, который, кстати, превосходно проводит сегодняшнюю встречу, просто превосходно, сделал внушение английскому игроку и — матч продолжается. И снова, дорогие товарищи болельщики, дорогие наши телезрители, вы видите на ваших экранах, как вступают в единоборство центральный нападающий английской сборной, профессионал из клуба «Стар» Боби Лейтон и наш замечательный мастер кожаного мяча, аспирант Московского педагогического института Владимир Лялин. Володя Лялин — капитан и любимец нашей сборной! В этом единоборстве (кстати, обратите внимание — интересный игровой момент), итак, в этом единоборстве соперники соревнуются не только в технике владения мячом, но в понимании, так сказать, самой природы игры, в умении предугадать и предупредить самые тончайшие стратегические и тактические замыслы противника…

А он мне все по яйцам целится,
Этот Боби, сука рыжая,
А он у них за то и ценится —
Мистер-шмистер, ставка высшая!

А я ему по-русски, рыжему:
«Как ни целься — выше, ниже ли,
Ты ударишь — я, бля, выживу,
Я ударю — ты, бля, выживи!

Ты, бля, думаешь, напал на дикаря,
А я сделаю культурно, втихаря,
Я, бля, врежу, как в парадном кирпичом
Этот, с дудкой, не заметит нипочем!»

В общем все — сказал по-тихому,
Не ревел,
Он ответил мне по-ихнему:
«Вери вэл…»

… Судья Бидо фиксирует положение вне игры — великолепно проводит матч этот арбитр из Франции, великолепно, по-настоящему спортивно, строго, по-настоящему арбитр международной квалификации. Итак, свободный удар от наших ворот, мяч рикошетом падает снова к Боби Лейтону, который в окружении остальных игроков по центру продвигается к нашей штрафной площадке. И снова перед ним вырастает Владимир Лялин, Володя! Володечка! Его не обманул финт англичанина — он преграждает ему дорогу к нашим воротам…

Ты давай из кучи выгляни,
Я припас гостинчик умнику,
Финты-шминты с фигли-миглями —
Это, рыжий, все на публику!

Не держи меня за мальчика,
Мы еще поспорим в опыте.
Что ж я, бля, не видел мячика?!
Буду бегать где ни поподя?!

Я стою, а он как раз наоборот,
Он, бля, режет, вижу, угол у ворот,
Натурально, я на помощь вратарю,
Рыжий — с ног, а я с улыбкой говорю:

«Думал вдарить, бля, по-близкому,
В дамки шел?!»
А он с земли мне по-английскому:
«Данке шён!..»

… Да, странно, странно, просто непонятное решение — судья Бидо почему-то принимает обыкновенный силовой прием за нарушение правил и назначает одиннадцатиметровый удар в наши ворота. Это неприятно, это неприятно, несправедливо и… а… вот здесь мне подсказывают — оказывается, этот судья Бидо просто прекрасно известен журналистам, как один из самых продажных политиканов от спорта, который в годы оккупации Франции сотрудничал с гитлеровской разведкой. Ну, итак, мяч установлен на одиннадцатиметровой отметке, кто же будет бить, а, ну все тот же самый Боби Лейтон, он просто симулировал травму, вот он разбегается, удар!.. Да, досадный и несправедливый гол, кстати, единственный гол за всю эту встречу, единственный гол за полминуты до окончания матча, единственный и несправедливый, несправедливый, досадный год,

забитый в наши ворота.

Да, игрушку мы просерили,
Протютюкали, прозяпали.
Хорошо б она на Севере,
А ведь это ж, бля, на Западе.

И пойдет теперь мурыжево —
Федерация, хренация,
Как, мол, ты не сделал рыжего —
Где ж твоя квалификация?!

Вас, засранцев, опекаешь и растишь,
А вы, суки, нам мараете престиж!
Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл!
Начал делать, так уж делай, чтоб не встал!

Духу нашему спортивному
Цвесть везде!
Я отвечу по-партийному:
«Будет сде…!»

(1969–1970)

КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

… Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут
спрашивать?
Вот стою я перед вами, словно голенький,
Да, я с Нинулькою гулял с тетипашиной
И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники!

Поясок ей подарил поролоновый
И в палату с ней ходил — в Грановитую,
А жена моя, товарищ Парамонова,
В это время находилась за границею!

А вернулась — ей привет! — анонимочка,
Фотоснимок, а на нем — я да Ниночка!
Просыпаюсь утром — нет моей кисочки,
Ни вещичек ее нет, ни записочки,

Нет, как нет,
ну, прямо, нет как нет!

Я к ней в ВЦСПС, в ноги падаю,
Говорю, что все во мне переломано,
Не серчай, что я гулял с этой падлою,
Ты прости меня, товарищ Парамонова!

А она как закричит, вся стала черная:
«Я на слезы на твои — ноль внимания,
И ты мне лазаря не пой, я ученая,
Ты людям все расскажи на собрании!».

И кричит она, дрожит, голос слабенький.
А холуи уж тут как тут, каплют капельки,
И Тамарка Шестопал, и Ванька Дерганов,
И еще тот референт, что из «органов».

Все, как есть,
ну, прямо, все как есть!

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут
спрашивать?!
Вот стою я перед вами словно голенький,
Да, я с племянницей гулял с тетипашиной

И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники.

И в моральном, говорю, моем облике
Есть растленное влияние Запада.
Но живем ведь, говорю, не на облаке,
Это ж только, говорю, соль без запаха!

И на жалость я их брал, да испытывал,
И бумажку, что я псих, им зачитывал,
Ну, поздравили меня с воскресением,
Залепили «строгоча» с занесением»!

Ой, ой, ой,
ну, прямо, ой, ой, ой…

Взял я тут цветов букет покрасивее,
Стал к подъезду номер семь — для начальников.
А Парамонова, как вышла, стала синяя,
Села в «Волгу» без меня и отчалила!

И тогда прямым путем в раздевалку я,
И тете Паше говорю, мол, буду вечером,
А она мне говорит: «С аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.

А племянница моя, Нина Саввовна,
Она думает как раз то же самое,
Она всю свою морковь нынче продала,
И домой, по месту жительства, отбыла».

Вот те на,
ну, прямо, вот те на!

Я иду тогда в райком, шлю записочку,
Мол, прошу принять, по личному делу я,
А у Грошевой, как раз моя кисочка,
Как увидела меня, вся стала белая!

И сидим мы у стола с нею рядышком,
И с улыбкой говорит товарищ Грошева:
«Схлопотал он «строгоча», ну и ладушки,
Помиритесь вы теперь, по-хорошему».

И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку,

И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку,
Она выпила «дюрсо», а я «перцовую»
За советскую семью, образцовую!

Вот и все!

(1964—1966)

ГОРОДСКОЙ РОМАНС *(Тонечка)*

Она вещи собрала, сказала тоненько:
«А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою!
Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у папы, у ее, топтун под окнами,
А что у папы, у ее, дача в Павшине,
А что у папы холуи с секретаршами,
А что у папы, у ее, пайки цековские,
И по праздникам кино с Целиковскою!
А что Тонька-то твоя сильно страшная —
Ты не слушай меня, я вчерашняя!
И с доскою будешь спать со стиральною
За машину, за его — персональную…

Вот чего ты захотел, и знаешь сам,
Знаешь сам, да стесняешься,
Про любовь твердишь, про доверие,
Про высокие про материи…
А в глазах-то у тебя дача в Павшине,
Холуи да топтуны с секретаршами,
И как вы смотрите кино всей семейкою,
И как счастье на губах — карамелькою…»

Я живу теперь в дому — чаща полная,
Даже брюки у меня — и те на молнии,
А вина у нас в дому — как из кладезя,
А сортир у нас в дому — восемь на десять…
А папаша приезжает сам к полуночи,
Топтуны да холуи тут все по струночке!
Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдот про абрамчиков!
А как спать ложусь в кровать с дурой Тонькою,
Вспоминаю той, другой, голос тоненький,
Ух, характер у нее — прямо бешеный,
Я звоню ей, а она трубку вешает…

Отвези ж ты меня, шеф, в Останкино,
В Останкино, где «Титан»-кино,
Там работает она билетершею,
На дверях стоит вся замерзшая,
Вся замерзшая, вся продрогшая,

Но любовь свою превозмогшая,
Вся иззябшая, вся простывшая,
Но не предавшая и не простившая!»

(1961–1962)

БАЛЛАДА О СОЗНАТЕЛЬНОСТИ
(Подражание Д. Хармсу)

Э. Канделю

Егор Петрович Мальцев
Хворает, и всерьез:
Уходит жизнь из пальцев,
Уходит из желез.

Из прочих членов тоже
Уходит жизнь его,
И вскорости, похоже,
Не будет ничего.

Когда нагрянет свора
Савеловских родных,
То что же от Егора
Останется для них?

Останется пальтишко,
Подушка, чтобы спать,
И книжка, и сберкнижка
На девять двадцать пять.

И таз, и две кастрюли,
И рваный подписной,
Просроченный в июле
Единый проездной.

И все. И нет Егора!
Был человек и нет!
И мы об этом скоро
Узнаем из газеты.

Пьют газировку дети
И пончики едят.
Ему ж при диабете
Все это — чистый яд!

Вот спит Егор в постели,
Почти что невесом,

И дышит еле-еле,
И смотрит дивный сон…

В большом красивом зале,
Резону вопреки,
Лежит Егор, а сзади
Знамена и венки.

И алым светом залит
Большой его портрет.
Но сам Егор не знает,
Живой он или нет.

Он смаргивает мошек,
Как смаргивал живой,
Но он вращать не может
При этом головой.

И дух по залу спертый,
Как в общей душевой,
И он скорее мертвый,
Чем все-таки живой.

Но хором над Егором —
Краснознаменный хор
Краснознаменным хором
Поет: «Вставай, Егор!

Вставай, Егор Петрович,
Во всю свою длину,
Давай, Егор Петрович,
Не подводи страну!

Центральная газета
Оповестила свет,
Что больше диабета
В стране Советской нет!

Пойми, что с этим, кореш
Нельзя озорничать,
Пойми, что ты позоришь
Родимую печать».

И сел товарищ Мальцев,

Услышав эту речь,
И жизнь его из пальцев
Не стала больше течь.

Егор трусы стирает,
Он койку застелил,
И тает, тает, тает
В крови холестерин…

По площади по Трубной
Идет он, милый друг,
И все ему доступно,
Что видит он вокруг!

Доступно кушать сласти
И газировку пить,
Лишь при Советской власти
Такое может быть!

(1967)

БЕССМЕРТНЫЙ КУЗЬМИН

Отечество нам Царское Село…

А. Пушкин

Эх, яблочко, куды катишься…

Покатились всячины и разности,
Поднялось неладное со дна!
— Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Гражданская война!

Был май без края и конца,
Жестока весна!
И младший брат, сбежав с крыльца,
Сказал: «Моя вина!»

У Царскосельского дворца
Стояла тишина,
И старший брат, сбежав с крыльца,
Сказал: «Моя вина!»

И камнем в омут ледяной
Упали те слова.
На брата брат идет войной,
Но шелестит над их виной
Забвенья трын-трава!..

… А Кузьмин Кузьма Кузьмич выпил рюмку «хлебного»,
А потом Кузьма Кузьмич закусил севрюжкою,
А потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою,
Написал Кузьма Кузьмич буквами печатными,
Что, как истый патриот, верный сын Отечества,
Он обязан известить власти предержащие…

А где вы шли, там дождь свинца,
И смерть, и дело дрянь!
… Летела с тополей пыльца
На бронзовую длань.

Там, в Царскосельской тишине,

У брега сонных вод…
И нет как нет конца войне,
И скоро мой черед!

… Было небо в голубиной ясности,
Но сердца от холода свело:
— Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Отечество в опасности!
Танки входят в Царское Село!

А чья вина? Ничья вина!
Не верь ничьей вине,
Когда по всей земле война
И вся земля в огне!

Пришла война — моя вина,
И вот за ту вину
Меня песочит старшина,
Чтоб понимал войну.

Меня готовит старшина
В грядущие бои.
И сто смертей сулит война,
Моя вина, моя вина,
И сто смертей мои!

А Кузьма Кузьмич выпил стопку чистого,
А потом Кузьма Кузьмич закусил огурчиком,
А потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою,
Написал Кузьма Кузьмич буквами печатными,
Что, как истый патриот, верный сын Отечества,
Он обязан известить дорогие «органы»…

А где мы шли, там дождь свинца,
И смерть, и дело дрянь!
… Летела с тополей пыльца
На бронзовую длань.

У Царскосельского дворца,
У замутненных вод…
И нет как нет войне конца,
И скоро твой черед!

Снова, снова — громом среди праздности,

Комом в горле, пулею в стволе —
— Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Отечество в опасности!
Наши танки на чужой земле!

Вопят прохвосты-петухи,
Что виноватых нет,
Но за вранье и за грехи
Тебе держать ответ!

За каждый шаг и каждый сбой
Тебе держать ответ!
А если нет, так черт с тобой,
На нет и спроса нет!

Тогда опейся допьяна
Похлебкою вранья!
И пусть опять — моя вина,
Моя вина, моя война,
И смерть опять моя!

… А Кузьмин Кузьма Кузьмич хлопнул сто
«молдавского»,
А потом Кузьма Кузьмич закусил селедочкой,
А потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою,
Написал Кузьма Кузьмич буквами печатными,
Что, как истый патриот, верный сын Отечества,
Он обязан известить всех, кому положено…

И не поймешь, кого казним,
Кому поем хвалу?!
Идет Кузьмин Кузьма Кузьмич
По Царскому Селу!

В прозрачный вечер у дворца —
Покой и тишина.
И с тополей летит пыльца
На шляпу Кузьмина…

(1968)

БАЛЛАДА
о том, как едва не сошел с ума директор антикварного магазина № 22 Копылов Н. А., рассказанная им самим доктору Беленькому Я. И.

… Допекла меня все же Тонечка,
Гарнитур купил ей ореховый!
Я ж не брал сперва — ни вот столечка!
А уж как начал, так поехало!
Как пошла молоть прорва адова —
Где по сотенке, где по камушку,
Намолола мне дачку в Кратове,
Намолола мне «Волгу»-матушку!
Деньги-денежки, деньги-катыши,
Вы и слуги нам, и начальники…
А у нас товар деликатнейший —
Не стандарт какой — чашки-чайники!

Чашки-чайники, фрукты-овощи!
Там кто хошь возьмет, хоть беспомощный!
Хоть беспомощный!

А у нас товар — на любителя,
Павлы разные, да Людовики,
А любителю — чем побитее,
Самый смак ему, что не новенький!
И ни-ни чтоб по недомыслию
Спутать Францию или Швецию…
А недавно к нам на комиссию
Принесло одну старушенцию.
И в руках у ней — не хрусталина,
Не фарфоровые бонбончики,
А пластиночки с речью Сталина,
Ровно десять штук — и все в альбомчике…

А я стреляный, а я с опытом!
А я враз понял — пропал пропадом!
Пропал пропадом!

Тем речам цена — ровно тридцать «рэ»!

(И принес же черт сучку-пташечку!).
Ну, какой мне смысл на такой муре
Наблюдать посля небо в шашечку?!
Вот и вникните в данный факт, друзья,
(На добре ж сижу, не на ветоши!)
Мне и взять нельзя, и не взять нельзя —
То ли гений он, а то ли нет еще?!
Тут и в прессе есть расхождения,
И, вообще, идут толки разные…
Вот и вникните в положение
Исключительно безобразное!

Они спорят там, они ссорятся!
Ну, а я решай, а мне — бессоница!
Мне бессонница!

Я матком в душе, а сам с улыбочкой,
Выбираю слова приличные,
За альбомчик, мол, вам — спасибочко!
Мол, беру его — за наличные!
И даю я ей свои кровные,
Продавцы вокруг удивляются.
Они, может быть, деньги скромные,
Но ведь тоже зря не валяются!
И верчусь весь день, как на вертеле,
Ой, туманится небо светлое,
И хоть верьте мне, хоть не верьте мне,
А началось тут несусветное!

А я стреляный! А я с опытом!
А я враз понял — пропал пропадом!
Пропал пропадом!

Или бабку ту сам засек народ,
Или стукнулась со знакомыми,
Но с утра ко мне в три хвоста черед —
Все с пластинками, все с альбомами!
И растет, растет гора целая,
И наличность вся в угасании!
Указание б чье-то ценное!
Так ведь нет его, указания!
В пух и прах пошла дачка в Кратове,
«Волга»-матушка — мое детище!
И гвоздит мне мозг многократное —

То ли гений он, а то ли нет еще?!
«Я маленькая девочка — танцую и пою,
Я Сталина не видела, но я его люблю!»

А я стреляный, а я с опытом!
А я враз понял — пропал пропадом!
Пропал пропадом!

… Но доктор Беленький Я. И. не признал Копылова Н. А. душевнобольным и не дал ему направления в психиатрическую клинику…

(1968)

НОЧНОЙ ДОЗОР

Когда в городе гаснут праздники,
Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.
Сотни тысяч (и все — похожие)
Вдоль по лунной идут дорожке,
И случайные прохожие
Кувыркаются в «неотложки».
И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

На часах замирает маятник,
Стрелки рвутся бежать обратно:
Одинокий шагает памятник,
Повторенный тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки.
И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведет процессию.
Он выходит на место лобное,
«Гений всех времен и народов!»,
И как в старое время доброе,
Принимает парад уродов!
И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

Прет стеной мимо дома нашего
Хлам, забытый в углу уборщицей,
Вот сапог громыхает маршево,
Вот обломанный ус топорщится!
Им пока — скрипеть да поругиваться,

Да следы оставлять линючие,
Но уверена даже пуговица,
Что сгодится еще при случае.
И будут бить барабаны!..
Бить барабаны,
Бить, бить, бить!

Утро родины нашей розово,
Позывные летят, попискивая,
Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись, гипсовые.
Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличив,
Им бы, гипсовым, человечины —
Они вновь обретут величие!
И будут бить барабаны!..
Бить барабаны,
Бить, бить, бить!

(1962–1964)

ПЛЯСОВАЯ

Чтоб не бредить палачам по ночам,
Ходят в гости палачи к палачам,
И радушно, не жалея харчей,
Угощают палачи палачей.

На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь — «КВ» — коньячок,
А впоследствии — чаек, пастила,
Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют»,
И сидят заплечных дел мастера
И тихонько, но душевно поют:
«О Сталине мудром, родном и любимом…»

Был порядок, — говорят палачи,
Был достаток, — говорят палачи,
Дело сделал, — говорят палачи,—
И пожалуйста — сполна получи.

Белый хлеб икрой намазан густо,
Слезы кипяточка горячей,
Палачам бывает тоже грустно,
Пожалейте, люди, палачей!

Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но еще половчей,
Бьют по рылу палачи палачей.

Как когда-то, как в годах молодых —
И с оттяжкой, и ногою в поддых,
И от криков, и от слез палачей
Так и ходят этажи ходуном,
Созывают «неотложных» врачей
И с тоскою вспоминают о Нем,
«О Сталине мудром, родном и любимом…»

Мы на страже, — говорят палачи.
Но когда же? — говорят палачи,
Поскорей бы! — говорят палачи. —
Встань, Отец, и вразуми, поучи!

Дышит, дышит кислородом стража,
Крикнуть бы, но голос как ничей,
Палачам бывает тоже страшно,
Пожалейте, люди палачей!

(1972)

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ

Старики управляют миром,
Суетятся, как злые мыши,
Им по справке, выданной МИДом,
От семидесяти и выше.

Откружили в боях и в вальсах,
Отмолили годами продленье
И в сведенных подагрой пальцах
Держат крепко бразды правления.

По утрам их терзает кашель,
И поводят глазами шало
Над тарелками с манной кашей
Президенты Земного Шара!

Старики управляют миром,
Где обличья подобны маскам,
Пахнут вёсны — яичным мылом,
Пахнут зимы — камфорным маслом.

В этом мире — ни слов, ни сути,
В этом мире — ни слез, ни крови!
А уж наши с тобою судьбы
Не играют и вовсе роли!

Им важнее, где рваться минам,
Им важнее, где быть границам…
Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.

А девчонка гуляет с милым,
А в лесу раскричалась птица!
Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.

А в саду набухает завязь,
А мальчишки трубят «по коням!»
И острее, чем совесть, — зависть
Старикам не дает покоя!

Грозный счет покоренным милям

Отчеркнет пожелтевший ноготь.
Старики управляют миром,
А вот сладить со сном — не могут!

(1964–1966)

ЗА СЕМЬЮ ЗАБОРАМИ

Мы поехали за город,
А за городом дожди,
А за городом заборы,
За заборами — Вожди.

Там трава несмятая,
Дышится легко,
Там конфеты мятные,
«Птичье молоко».

За семью заборами,
За семью запорами,
Там конфеты мятные,
«Птичье молоко»!

Там и фауна, и флора,
Там и галки, и грачи,
Там глядят из-за забора
На прохожих стукачи,

Ходят вдоль да около,
Кверху воротник…
А сталинские соколы
Кушают шашлык!

За семью заборами,
За семью запорами,
Сталинские соколы
Кушают шашлык!

А ночами, а ночами
Для ответственных людей,
Для высокого начальства
Крутят фильмы про блядей!

И, сопя, уставится,
На экран мурло…
Очень ему нравится
Мэрилин Монро!

За семью заборами,

За семью запорами,
Очень ему нравится
Мэрилин Монро!

Мы устали с непривычки,
Мы сказали:
— Боже мой!
Добрели до электрички
И поехали домой.

А в пути по радио
Целый час подряд,
Нам про демократию
Делали доклад.

А за семью заборами,
За семью запорами,
Там доклад не слушают —
Там шашлык едят!

(1961)

ПЕЙЗАЖ

В Серебряном Бору, у въезда в Дом отдыха артистов Большого театра стоит врытый в землю, неуклюже отесанный деревянный столб. Малярной кистью, небрежно и грубо, на столбе нанесены деления с цифрами — от единицы до семерки. К верху столба прилажено колесико, через которое пропущена довольно толстая проволока. С одной стороны столба проволока уходит в землю, а с другой — к ней подвешена тяжелая гиря.

Сторож Дома отдыха объяснил мне:

— А это, Александр Аркадьевич, говномер… Проволока, она стало быть, проведена к яме ассенизационной! Уровень, значит, повышается — гиря понижается… Пока она на двойке-тройке качается — ничего. А как до пятерки-шестерки дойдет — тогда беда, тогда значит, надо из города золотариков вызывать…

Мне показалось это творение русского умельца не только полезным, но и весьма поучительным. И я посвятил ему философский этюд, который назвал эпически-скромно:

ПЕЙЗАЖ

Все было пасмурно и серо,
И лес стоял как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.

Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена!),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна
(1973)

РЕКВИЕМ ПО НЕУБИТЫМ

Когда началась «Шестидневная война», я жил за городом, у меня испортился транзистор, поэтому я двое суток пользовался только сообщениями радиоточки. Из этих сообщений я создал себе, естественно, совершенно превратное представление о том, что происходит, и на второй вечер написал стихи, которые совершенно не соответствуют действительности…

Шесть с половиной миллионов,
Шесть с половиной миллионов,
Шесть с половиной миллионов!
А надо бы ровно десять!
Любителей круглого счета
Должна порадовать весть,
Что жалкий этот остаток
Сжечь, расстрелять, повесить
Вовсе не так уж трудно,
И опыт, к тому же, есть!

Такая над миром темень,
Такая над миром темень,
Такая над миром темень!
Глаз ненароком выколешь!
Каждый случайный выстрел
Несметной грозит бедой,
Так что же тебе неймется,
Красавчик, фашистский выкормыш,
Увенчанный нашим орденом
И Золотой Звездой?!

Должно быть, тобой заслужено,
Должно быть, тобой заслужено,
Должно быть, тобой заслужено
По совести и по чести!
На праведную награду
К чему набрасывать тень?!
Должно быть, с Павликом Коганом
Бежал ты в атаку вместе,
И рядом с тобой под Выборгом
Убит был Арон Копштейн!

Тоненькой струйкой дыма,
Тоненькой струйкой дыма,
Тоненькой струйкой дыма
В небо уходит Ева,
Падает на Аппельплаце
Забитый насмерть Адам!
И ты по ночам, должно быть,
Кричишь от тоски и гнева,
Носи же свою награду
За всех, что остались там!

Голос добра и чести,
Голос добра и чести,
Голос добра и чести
В разумный наш век бесплоден!
Но мы вознесем молитву
До самых седьмых небес!
Валяйте — детей и женщин!
Не трогайте гроб Господень!
Кровь не дороже нефти,
А нефть нужна позарез!

Во имя Отца и Сына…
Во имя Отца и Сына…
Во имя Отца и Сына!..
Мы к ночи помянем черта,
Идут по Синаю танки,
И в черной крови пески!
Три с половиной миллиона
Осталось до ровного счета!
Это не так уж много —
Сущие пустяки!

(1967)

О ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

(Алене в роли Сольвейг)

Я запер дверь (ищи-свищи!),
Сижу, молю неистово:
— Поговори! Поклевещи —
Родной ты мой, транзисторный!
По глобусу, как школьник,
Ищу в эфире путь:
— Товарищ-мистер Гольдберг,
Скажи хоть что-нибудь!..

Поклевещи! Поговори!
Молю, ладони потные.
Но от зари и до зари
Одни глушилки подлые!
Молчит товарищ Гольдберг,
Не слышно Би-Би-Си,
И только песня Сольвейг
Гремит по всей Руси!

Я отпер дверь, открыл окно,
Я проклял небо с сушею —
И до рассвета, все равно,
Сижу — глушилки слушаю!

(1970, декабрь)

ПРОЩАНИЕ

За высокими соснами синий забор
И калитка в заборе.
Вот и время прощаться, Серебряный Бор,
Нам — в Серебряном Боре!

Выходила калитка в бескрайний простор,
Словно в звездное море,
Я грущу по тебе, мой Серебряный Бор,
Здесь — в Серебряном Боре.

Мы с тобою вели нескончаемый спор,
Только дело не в споре.
Я прощаюсь с тобой, мой Серебряный Бор,
Здесь — в Серебряном Боре.

Понимаешь ли — боль подошла под упор,
Словно пуля в затворе,
Я с тобой расстаюсь, мой Серебряный Бор,
Здесь— в Серебряном Боре.

Ну, не станет меня — для тебя это вздор,
Невеликое горе!
Что ж, спасибо тебе, мой Серебряный Бор,
Я прощаюсь с тобой, мой Серебряный Бор,
И грущу по тебе, мой Серебряный Бор,
Здесь — в Серебряном Боре!

(1973)

Опять меня тревожат страхи…

Опять меня тревожат страхи
И ломит голову, хоть плачь!
Опять мне снится, что на плахе
Меня с петлею ждет палач.
Палач в нейлоновой рубахе,
С багровой заячьей губой…
Опять меня терзают страхи —
И я опять бросаюсь в бой.

(1970)

В этом мире Великого Множества…

В этом мире Великого Множества
Рождество зажигает звезду.
Только мне, почему-то, не можется,
Все мне колется что-то и ежится,
И никак я себя не найду.

И немея от вздорного бешенства,
Я гляжу на чужое житье.
И полосками паспорта беженца
Перекрещено сердце мое!..

(1974)

ВЕЧНЫЙ ТРАНЗИТ

Посошок напоследок,
Все равно, что вода.
То ли — так,
То ли — этак,
Мы уйдем в никуда.
Закружим суховеем
Над распутицей шпал.
Оглянуться не смеем,
Оглянулся — пропал!

И всё мы себя подгоняем — скорее!
Всё путаем Ветхий и Новый Завет.
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет?!

Мы теперь иностранцы.
Нас бессмертьем казнит
Пересадочных станций
Бесконечный транзит.
И как воинский рапорт —
Предотъездный свисток…
Кое-кто — на Восток,
Остальные — на Запад!

Под небом Австралий, Италий, Германий,
Одно не забудь
(И сегодня, и впредь!),
Что тысячу тысяч пустых оправданий —
Бумаге — и той — надоело терпеть!

Паровозные встречи —
Наша боль про запас,
Те, кто стали далече,—
Вспоминают ли нас?
Ты взгляни — как тоскует
Колесо на весу…
А кукушка кукует
В подмосковном лесу!

Ну, что ж, волоки чемодан, не вздыхая,
И плакать не смей, как солдат на посту.

И всласть обнимай своего вертухая
Под вопли сирен на Бруклинском мосту.

Вот и канули в Лету
Оскорбленья и вой.
Мы гуляем по свету,
Словно нам не впервой!
Друг на друга похожи,
Мимо нас — города…
Но Венеция дожей —
Это все-таки да!

В каналах вода зелена нестерпимо,
И ветер с лагуны пронзительно сер.
— Вы, братцы, из Рима?
— Из Рима, вестимо!
— А я из-под Орши! — сказал гондольер.

О, душевные темы,
Горечь горьких минут!
Мы-то думали:
Там вы.
Оказалось — и тут.
И живем мы не смея
Оценить благодать:
До холмов Иудеи,
Как рукою подать!

А может, и впрямь мы, как те лицедеи,
Что с ролью своей навсегда не в ладах?!
И были нам ближе холмы Иудеи —
На Старом Арбате, на Чистых прудах!

Мы, как мудрые совы,
Зорко смотрим во тьму.
Даже сдаться готовы —
Да не знаем кому!
С горя, вывесим за борт
Перемирья платок,
Скажем:
Запад есть Запад,
А Восток есть Восток!

И всё мы себя подгоняем:

— Скорее!
Всё ищем такой очевидный ответ.
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет?!

(1972–1973)

ЧИТАЯ «ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»

Играет ветер пеною
На Сене на реке,
А я над этой Сеною,
Над этой самой Сеною,
Сижу себе над Сеною
С газетою в руке.

Ах, до чего ж фантазирует
Эта газета буйно,
Ах, до чего же охотно
На все напускает дым,
И если на клетке слона
Вы увидите надпись «Буйвол»,
Не верьте, друзья, пожалуйста,
Не верьте, друзья, пожалуйста,
Не верьте, очень прошу вас,
Не верьте глазам своим.

(1977)

VII
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ВЫСТУПЛЕНИЙ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА ПО РАДИОСТАНЦИИ «СВОБОДА» [4]

1 6.7.1974 Беседа с А. Галичем «За круглым столом» (Красовский, Рар, Малышев).

2 10.7.1974 Обзор культурной жизни. Первое выступление Галича за рубежом.

3 26.7.1974 Программа «Европейская культура и общественная жизнь».

4 24.8.1974 Памяти Анны Ахматовой. Цикл «У микрофона Галич...» Передача 1-я.

5 31.8.1974 Первые дни в Норвегии. Цикл «У микрофона Галич...» Передача 2-я.

6 Передача 3-я из цикла «У микрофона Галич...» не сохранилась.

7 14.9.1974 Первые дни в Норвегии. Цикл «У микрофона Галич...» Передача 4-я.

8 21.9.1974 Первые дни в Норвегии. Цикл «У микрофона Галич...» Передача 5-я.

9 Передача 6-я из цикла «У микрофона Галич...» не сохранилась.

10 2.10.1974 Обзор самиздата «Еще раз о возрождении «Хроники текущих событий» (Мельников).

11 2.10.1974 Информационная передача «События и люди». Заметка о кончине В. Шукшина.

12 4.10.1974 Информационная передача «События и люди». К интервью Ростроповича.

13 5.10.1974 Цикл «У микрофона Галич...» Передача 7-я. Песня «Караганда или про генеральскую дочь».

14 8.10.1974 Информационная программа «События и люди». Заметка «Еще раз об авторе «Тихого Дона».

15 12.10.1974 Цикл «У микрофона Галич...» Передача 8-я. Песня «Ошибка».

16 13.10.1974 Передача «Культура, события, люди». Беседа о «магнитиздате».

17 15.10.1974 Информационная передача «События и люди». Заметка о статье В. Моложавенко «Несколько вопросов

Солженицыну».

18 19.10.1974 Цикл «У микрофона Галич...» Передача 9-я. Песни «Марш» и «Поезд».

19 26.10.1974 Цикл «У микрофона Галич...» Передача 10-я. Песня «Жуткое столетие».

20 28.10.1974 Программа «Обзор культурной жизни». Беседа с А. Галичем о его новой книге «Генеральная репетиция».

21 2.11.1974 Цикл «У микрофона Галич...» Передача 11-я. «Баллада о стариках и старухах...».

22 9.11.1974 Передача 12-я из цикла «У микрофона Галич...». «Реквием по неубитым».

23 16.11.1974 Передача 13-я из цикла «У микрофона Галич...» «Баллада о прибавочной стоимости».

24 17.11.1974 Программа «Культура, события, люди». Беседа о Д. Шостаковиче.

25 23.11.1974 Передача 14-я из цикла «У микрофона Галич...». «О двадцать первом августа 1968-го».

26 25.11.1974 Программа «Обзор культурной жизни». Беседа о Франкфуртской книжной ярмарке.

27 30.11.1974 Передача 15-я из цикла «У микрофона Галич...». «Баллада о вечном огне».

28 6.12.1974 Информационная программа «События и люди». Заметка о демонстрации на Пушкинской площади 5 декабря 1974 года.

29 7.12.1974 Передача 16-я из цикла «У микрофона Галич...» Как создавалась песня про милиционершу Леночку.

30 14.12.1974 Передача 17-я из цикла «У микрофона Галич...» О поездке в Швейцарию.

31 18.12.1974 Информационная программа «События и люди». Заметка о книге, приписываемой В. Буковскому.

32 20.12.1974 Корреспонденция из Осло «В защиту Н. Горбаневской».

33 21.12.1974 Передача 18-я из цикла «У микрофона Галич...» О концерте в Париже.

34 22.12.1974 «Интервью об интервью».

28.12.1974 Передача 19-я из цикла «У микрофона Галич...»

35 Специальная Новогодняя программа.

36 Передача не сохранилась.

37 6.1.1975 «Об интервью Жореса Медведева».

38 10.1.1975 Повторение передачи от 28 декабря 1974 г. Поэма «Размышление о бегунах на длинные дистанции».

39 11.1.1975 Передача 20-я из цикла «У микрофона Галич...». «Песня про несчастливых волшебников, или эйн, цвэй, дрэй».

40 18.1.1975 Передача 21-я из цикла «У микрофона Галич...».

«Песня исхода».

41 18.1.1975 Передача «Панорама». Песня о Галиче.

42 25.1.1975 Передача 22-я из цикла «У микрофона Галич...». «Песня про велосипед».

43 22.1.1975 Передача о Д. Шостаковиче.

44 1.2.1975 Передача 23-я из цикла «У микрофона Галич...» «Генеральная репетиция», часть первая.

45 3.2.1975 Радиожурнал «Европа сегодня». Впечатления об Англии.

46 3.2.1975 Галич в программе для женщин.

47 8.2.1975 Передача 24-я из цикла «У микрофона Галич...» «Генеральная репетиция», часть вторая.

48 11.2.1975 Корреспонденция из Осло. «Годовщина изгнания Солженицына».

49 15.2.1975 Передача 25-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть третья.

50 22.2.1975 Передача 26-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть четвертая.

51 1.3.1975 Передача 27-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть пятая.

52 8.3.1975 Передача 28-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть шестая.

53 15.3.1975 Передача 29-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть седьмая.

54 22.3.1975 Передача 30-я из цикла «У микрофона Галич...», «Генеральная репетиция», часть восьмая.Также рассказ о песне «От беды моей пустяковой...»

55 Передача 31-я из цикла «У микрофона Галич...» не сохранилась.

56 5.4.1975 Передача 32-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть десятая.

57 12.4.1975 Передача 33-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть одиннадцатая.

58 19.4.1975 Передача 34-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть двенадцатая.

59 9.5.1975 Информационная передача «События и люди». Заметка «Голодовка Сахарова».

60 17.5.1975 Передача 35-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть тринадцатая.

61 17.5.1975 Радиожурнал «По Советскому Союзу». Заметка «Угрозы В. Войновичу».

62 23.5.1975 Информационная передача «События и люди». Реплика по поводу сообщения ТАСС о радиостанциях «Свободная Европа» и «Свобода».

63 24.5.1975 Передача 36-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть четырнадцатая.

64 28.5.1975 Программа «Обзор культурной жизни». Заметка «Памяти Пастернака».

65 31.5.1975 Передача 37-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть пятнадцатая.

66 7.6.1975 Передача 38-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть шестнадцатая.

67 14.6.1975 Передача 39-я из цикла «У микрофона Галич...». «Генеральная репетиция», часть семнадцатая.

68 16.6.1975 Программа «Обзор культурной жизни». Беседа с А. Галичем «Годовщина выезда из СССР». Стихотворение «Псалом».

69 21.6.1975 Передача 40-я из цикла «У микрофона Галич...» О путешествии в Америку.

70 28.6.1975 Передача 41-я из цикла «У микрофона Галич...» О путешествии в Америку.

71 28.6.1975 Радиожурнал «По Советскому Союзу». Заметка, о сборнике «Набережные Челны».

72 5.7.1975 Передача 42-я из цикла «У микрофона Галич...» О путешествии в Америку.

73 6.7.1975 Передача «Права человека». Беседа «Индекс запрещенных книг».

74 7.7.1975 Программа «Обзор культурной жизни». Беседа «Фестиваль поэзии в Роттердаме».

75 12.7.1975 Передача 43-я из цикла «У микрофона Галич...» О путешествии в Америку.

76 19.7.1975 Передача 44-я из цикла «У микрофона Галич...» О Париже.

77 26.7.1975 Радиожурнал «По Советскому Союзу». Беседа «Премия мира Шолохову».

78 26.7.1975 Передача 45-я из цикла «У микрофона Галич...» О Париже. Часть вторая.

79 8.8.1975 Программа «Еврейская культура и общественная жизнь». Последняя встреча с Перецем Маркишем.

80 9.8.1975 Передача 47-я из цикла «У микрофона Галич...» История одной пьесы.

81 16.8.1975 Передача 48-я из цикла «У микрофона Галич...» История одной песни «Кумачовый вальс».

82 23.8.1975 Передача 49-я из цикла «У микрофона Галич...». «Некто с пустым лицом.»

83 30.8.1975 Передача 50-я из цикла «У микрофона Галич...» О песне «Мы поехали за город...» и беседа о Шпаликове.

84 6.9.1975 Передача 51-я из цикла «У микрофона Галич...» О

Лондоне.

85 7.9.1975 Программа «С другого берега». Чтение повести Г. Владимова «Верный Руслан». Вступление А. Галича.

86 13.9.1975 Программа «Обзор культурной жизни». Об Андрее Синявском и его докладе «Я и Они». Беседа Галич — Синявский.

87 13.9.1975 Передача 52-я из цикла «У микрофона Галич...» «Воспоминание об Одессе».

88 14.9.1975 Передача 53-я из цикла «У микрофона Галич...» Песня «Петербургский романс».

89 15.9.1975 Программа «Обзор культурной жизни». Заметка «К годовщине выставки на Профсоюзной улице в Москве» («Бульдозерная выставка»).

90 22.9.1975 Информационная передача «События и люди». Заметка «К самоубийству Елены Титовой».

91 28.9.1975 Передача «Культура, события, люди». «У микрофона Галич...». Передача 55-я. Комментарий к статье в газете «Советская индустрия».

92 5.10.1975 Передача «Культура, события, люди». «У микрофона Галич...». Передача 56-я. «Разговор с матерью».

93 12.10.1975 Передача «Культура, события, люди». У микрофона Галич...». Передача 57-я. «Поэма о семнадцатом веке».

94 21.10.1975 Передача «Культура, события, люди». «У микрофона Галич...». Передача 58-я. Встреча баварских и восточноевропейских писателей, живуших в эмиграции.

95 26.10.1975 Передача «Культура, события, люди». «У микрофона Галич...». Передача 59-я. «Нобелевская премия Сахарову» и «Литературная газета».

96 2.11.1975 Передача 60-я из цикла «У микрофона Галич...». Передача-привет медсестрам Ленинградской больницы. Песня про психов («Белые столбы»).

97 7.12.1975 Передача 61-я из цикла «У микрофона Галич...» Поездка в Израиль. Часть первая.

98 21.12.1975 Передача 62-я из цикла «У микрофона Галич...» О Вс. Вишневском.

99 26.12.1975 Программа «Еврейская культура и общественная жизнь». Песня «Песок Израиля».

100 28.12.1975 Передача 62-я из цикла «У микрофона Галич...» Поездка в Израиль. Часть вторая.

101 4.1.1976 Передача «Культура, события, люди». «У микрофона Галич...». Передача 63-я. Часть третья путевых заметок «По Израилю».

102 11.1.1976 Передача 64-я из цикла «У микрофона Галич...»«О Ларисе Мондрус».

103 23.1.1976 Специальная передача «Примечательные встречи». Беседа А. Галича, В. Некрасова и М. Розановой.

104 27.1.1976 Специальная передача «К 150-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина».

105 23.2.1976 Специальная программа «25-й съезд КПСС и культура».

106 25.2.1976 Передача о фильме «Один день Ивана Денисовича». Песня Галича «Облака».

107 21.4.1976 Передача «Культура, события, люди». Заметка о новой книге Владимира Войновича «Иванкиада».

108 2.5.1976 Цикл «Благодарения». Передача первая. («У микрофона Галич...» 65-я передача).

109 12.5.1976 Специальная передача «Памяти Марка Слонима».

110 15.5.1976 Беседа «К съезду кинематографистов».

111 17.5.1976 Передача «Культура, события, люди». О Ходасевиче.

112 20.5.1976 Специальная передача «О судьбе гонимых в Советском Сюзе писателей».

113 23.5.1976 Передача 66-я из цикла «У микрофона Галич...» О Юлиане Паниче.

114 25.5.1976 Цикл «Благодарение». Передача вторая. («У микрофона Галич...». 68-я передача.).

115 5.6.1976 Цикл «Благодарение». Передача третья. («У микрофона Галич». 69-я передача).

116 8.6.1976 Беседа с писателем Анатолием Гладилиным.

117 12.6.1976 Цикл «Благодарение». Передача четвертая. («У микрофона Галич...». 70-я передача.).

118 21.6.1976 Обзор культурной жизни. Беседа А. Галича с Н. Коржавиным о книге Ю. Трифонова «Дом на набережной».

119 26.6.1976 Хроника культурной жизни. Спор о кинокартине «Синяя птица».

120 26.6.1976 Актуальная передача. Заметка: «К итогам шестого съезда Союза советских писателей СССР».

121 4.7.1976 Специальная передача «К 200-летию Соединенных Штатов Америки».

122 24.7.1976 Программа «Еврейская культура и общественная жизнь». Галич в Израиле.

123 2.10.1976 Передача 71-я из цикла «У микрофона Галич...» Об Олимпиаде в Монреале.

124 16.10.1976 Передача 72-я из цикла «У микрофона Галич...» «О русском языке».

125 30.10.1976 Передача 73-я из цикла «У микрофона Галич...» Новая песня «Спиной к спине» («Старая песня»).

126 27.11.1976 Вступление к передаче С. Артамонова.

127 3.12.1976 Программа «Еврейская культура и общественная жизнь». Интервью с В. Перельманом о журнале «Время и мы».

128 16.12.1976 Беседа «Памяти Жана Габэна».

129 31.12.1976 Новогоднее приветствие.

130 5.1.1977 Цикл передач «Песни с комментариями». Новый год в Дубне.

131 9.2.1977 Специальная передача «Десятый номер журнала «Континент».

132 18.2.1977 Программа «Еврейская культура и общественная жизнь». Интервью Галич — Винокуров.

133 5.3.1977 Специальная передача. Томас Венцлова — Александр Галич.

134 2.4.1977 Из цикла «Благодарение». Концерт М. Рудя в Париже.

135 22.4.1977 «Тридцатилетие газеты «Русская мысль». Беседа.

136 23.4.1977 Цикл передач «Песни с комментариями». «После вечеринки».

137 2.6.1977 «У микрофона Г алич...» О песнях Дунаевского.

138 10.7.1977 «У микрофона Галич...» О статье И. Штока.

139 13.6.1977 К кончине Б. Литвинова и К. Скотта.

140 13.6.1977 Рассказ о поездке в Израиль.

141 20.6.1977 «У микрофона Галич...» К столетию поэта Михаила Волошина.

142 23.6.1977 «У микрофона Галич...» Итальянские впечатления.

143 27.6.1977 «У микрофона Галич...» О двадцать втором июня тысяча девятьсот сорок первого года.

144 5.7.1977 «У микрофона Галич...». «Двадцать пятая юбилейная выставка в Люксембургском дворце».

145 14.7.1977 «У микрофона Галич...» Рассказ о поездке в Италию

146 19.7.1977 «У микрофона Галич...» Поездка в Страсбург.

147 25.7.1977 «У микрофона Галич...» О песнях протеста.

148 2.8.1977 Корреспонденция из Парижа. «Две выставки в Париже».

149 8.8.1977 «У микрофона Галич...» Театральный фестиваль в Авиньоне. Часть первая.

150 11.8.1977 «У микрофона Галич...» Театральный фестиваль в Авиньоне. Часть вторая.

151 9.9.1977 «У микрофона Галич...» О бесплатном медицинском обслуживании.

152 12.9.1977 «У микрофона Галич...». «ЧП на границе».

153 27.9.1977 «У микрофона Галич...» Поездка по Италии.

154 7.10.1977 «У микрофона Галич...» Сообщение из Гонолулу.

155 14.10.1977 «У микрофона Галич...» Годовщина Бабьего Яра.

156 15.10.1977 «У микрофона Галич...» Рассказ о фильме «Развлечение для старичков».

157 17.10.1977 «У микрофона Галич...» Поездка в Сан-Марино.

Творчество Александра Галича (1918—1977) в течение семнадцати лет было запрещено в СССР. Изгнанный из страны писатель сначала жил в Норвегии, позже в Германии и Франции, где и умер в результате несчастного случая. То, что этот случай действительно был несчастным — сильный удар электрического тока при включении в сеть только что купленной аппаратуры — до сих пор ставится под сомнение и близкими друзьями Галича (в частности, Андреем Дмитриевичем Сахаровым), и современными исследователями. Советская пресса в те годы писала о кознях ЦРУ, зарубежная подозревала в этой трагедии КГБ. Похоронен писатель на кладбиде Сент Женевьев де Буа близ Парижа. Рядом могилы Бунина, Мережковского, Андрея Тарковского, Виктора Некрасова... В 1988 году имя Галича стало возможным упоминать в перестроечной прессе, тогда же впервые были опубликованы его стихи. Вышло несколько изданий произведений писателя на Родине (значительная часть наследия была опубликована за рубежом). Казалось, при тех бурных изменениях, которые происходят в стране в конце 90-х годов, творчество Галича могло уже не быть актуальным. Вместе с тем, этого не происходит. Стихи его по-прежнему на слуху, многие строчки из них становятся нарицательными. В данное издание включена малоизвестная часть литературного наследия А. Галича — тексты его выступлений по радиостанции «Свобода», интервью, подписанные писателем открытые письма. Печатаются также стихи автора, носящие наиболее ярко выраженный антикоммунистический характер. Решительное неприятие тоталитарного режима, установленного в СССР, и активная борьба с ним составили основной лейтмотив книги.

notes

Примечания

1

24 августа 1974 на волнах Радио Свобода появилась постоянная рубрика «У микрофона Галич…»

2

Псевдоним Виктора Федосеева, сотрудника РС.

З

Богатырев Константин Петрович (1925–1976) — известный переводчик с немецкого, друг Б. Пастернака и А. Сахарова. В период культа личности был приговорен к смертной казни, замененной 25 годами тюремного заключения. В связи с убийством К. Богатырева Г. Бель написал гневную статью и вместе с А. Сахаровым потребовал от советских властей расследования случившегося.

4

Список представлен сотрудником радиостанции «Свобода» Ю. Паничем. Нумерация передач и их названия сохранены. (— *сост.)*